

ББК 87.3  
Ш 99

Главный редактор и автор проекта «Книга света» С.Я.Левит

**Редакционная коллегия серии:**

Л.В.Скворцов (председатель), В.В.Бычков,  
П.П.Гайденко, И.Л.Галинская, В.Д.Губин,  
Ю.Н.Давыдов, Г.И.Зверева, Ю.А.Кимелев,  
Н.Б.Маньковская, Л.Т.Мильская, Ю.С.Пивоваров,  
М.К.Рыклин, И.М.Савельева, М.М.Скибицкий,  
А.К.Сорокин, П.В.Соснов

Составление тома: Н.М.Смирнова  
Переводчики: В.Г.Николаев, С.В.Ромашко, Н.М.Смирнова  
Общая и научная редакция, послесловие Н.М.Смирновой  
Художник: П.П.Ефремов

**Шюц А.**

Ш 99 **Избранное: Мир, светящийся смыслом** / Пер. с нем. и  
англ. — М.: «Российская политическая энциклопедия»  
(РОССПЭН), 2004. — 1056 с. (Серия «Книга света».)

А.Шюц (1899—1959) — австрийский философ и социолог, последователь Гуссерля, основатель социальной феноменологии. В первой, высоко оцененной Гуссерлем, книге Шюца «Смысловое строение социального мира» (1932) заложены основные идеи, развитые в последующих работах. В книге принята попытка философского обоснования социальных наук на основе гуссерлевской описательной феноменологии. Тем самым Шюц стремился выполнить поставленную Гуссерлем задачу восстановления связи абстрактных научных категорий с «жизненным миром», понимаемым как мир непосредственной человеческой жизнедеятельности, мир культуры.

В том вошли важнейшие работы А.Шюца: «Размышления о проблеме релевантности», «О множественных реальностях», «Символ, реальность и общество».

© С.Я.Левит, составление серии, 2004  
© Н.М.Смирнова, составление тома, послесловие,  
2004  
© В.Г.Николаев, С.В.Ромашко, Н.М.Смирнова,  
перевод, 2004  
© «Российская политическая энциклопедия», 2004

ISBN 5-8243-0513-7

**Методология  
социальных  
наук**

# Обыденная и научная интерпретация человеческого действия\*

## I. Введение: содержание опыта и объекты мышления

### 1. Конструкты обыденного и научного мышления

«**Н**и обыденное мышление, ни наука не могут существовать, не отходя от жесткой привязанности к актуальному содержанию опыта». Это высказывание А.Н. Уайтхеда составляет основу его анализа в работе «Организация мышления»<sup>1</sup>. Даже в повседневной жизни восприятие предмета представляет собой нечто большее, чем просто чувственную презентацию<sup>2</sup>. Это объект мышления, конструкт высокосложной природы, включающий в себя не только определенные формы последовательности его конституирования во времени как объекта отдельного чувственного восприятия, скажем зрения<sup>3</sup>, и пространственных отношений, чтобы конституировать его как чувственный объект нескольких чувств, скажем зрения и осязания<sup>4</sup>, но также и вклад воображения, завершаемый гипотетическим чувственным представлением<sup>5</sup>. Согласно Уайтхеду, именно последний фактор, воображение гипотетического чувственного представления, является «той твердой породой, на которой зиждется вся структура обыденного мышления»<sup>6</sup>, и рефлексивный критицизм пытается «сконструировать наше чувственное представление как реальное воплощение гипотетических мыслительных объектов восприятия»<sup>7</sup>. Иными словами, так называемые конкретные факты обыденного восприятия не столь конкретны, как кажутся. Они уже включают в себя абстракции высокосложной природы, и мы должны принять их во внимание во избежание неуместной здесь иллюзии конкретности<sup>8</sup>.

Согласно Уайтхеду, наука всегда преследует двоякую цель: первая – создание теории, согласующейся с опытом, вторая –

\* Schutz A. Collected Papers, Vol. 1, Martinus Nijhoff, The Hague, 1962. P. 3–47. Пер. Н.М. Смирновой.

объяснение обыденных понятий природы, по крайней мере, в общих чертах; это объяснение состоит в сохранении этих понятий в гармонизированном мышлении научной теории<sup>9</sup>. Для достижения этой цели физика (единственная наука, которая интересует Уайтхеда в этом контексте) должна развить такие приемы, посредством которых объекты мышления обыденного восприятия заменяются научными объектами мышления<sup>10</sup>. Последние, такие, как молекулы, атомы и электроны, обладают всеми качествами, доступными непосредственному чувственному представлению в нашем сознании и известны нам только как серия событий, в которых они участвуют, — событий, представленных в нашем сознании посредством чувственных представлений. Такие приемы наводят мосты между текучей неопределенностью чувств и четкими определениями мышления<sup>11</sup>.

В нашу задачу не входит детальное рассмотрение того оригинального метода, посредством которого Уайтхед использует кратко описанные выше принципы для анализа организации мышления, начиная с «анатомии научных идей» и кончая математизированными теориями современной физики и процедурными правилами символической логики<sup>12</sup>. Нас, однако, крайне интересует тот основополагающий взгляд, который Уайтхед разделяет со многими выдающимися мыслителями нашего времени, такими, как Джемс<sup>13</sup>, Дьюи<sup>14</sup>, Бергсон<sup>15</sup> и Гуссерль<sup>16</sup>. Эта точка зрения может быть весьма схематично представлена в следующих словах: все наше знание о мире, как обыденное, так и научное, содержит конструкторы, т.е. набор абстракций, обобщений, формализаций и идеализаций, соответствующих определенному уровню организации мышления. Строго говоря, не существует чистых и простых фактов. Все факты изначально отобраны из всеобщего контекста деятельностью нашего разума. Следовательно, они всегда интерпретированы, как факты, на которые взирают как на искусственно выбранные из их контекста посредством абстрагирующей деятельности, так и факты, рассматриваемые сами по себе. И в том, и в другом случае они содержат внутренний и внешний горизонт интерпретации. Это не означает, что в повседневной жизни или в науке мы не в состоянии схватить реальность мира. Это означает, что мы воспринимаем лишь определенные его аспекты, а именно, те, которые релевантны нам как для осуществления наших дел в жизни, так и с точки зрения признанных процедурных правил мышления, называемых научным методом.

## 2. Специфическая структура конструкторов социальных наук

Если, согласно этой точке зрения, все научные конструкторы создаются для замены конструкторов обыденного мышления, то принципиальное различие между естественными и социальными науками становится легко уловимым. Представители естественных наук сами определяют, какой сектор универсума природы, факты и события в нем и какие аспекты этих фактов и событий тематически и интерпретативно релевантны поставленной цели. Эти факты и события не являются ни предварительно отобранными, ни предварительно интерпретированными; они не обнаруживают внутренней структуры релевантностей. Релевантность не присуща природе как таковой, это результат избирательной и интерпретирующей деятельности человека в природе, занимающегося научными наблюдениями. Факты, данные и события, с которыми имеет дело представитель естественных наук, являются именно фактами, данными и событиями в поле его научного наблюдения, но это поле ничего не «значит» для находящихся в нем молекул, атомов и электронов.

Но фактам, событиям и данным, с которыми имеет дело представитель общественных наук, присуща совсем иная структура. Его поле научного наблюдения, социальный мир, никак не является бесструктурным. Он имеет собственное значение и структуру релевантности для человеческих существ, в нем живущих, думающих и действующих. Они уже осуществили выборку и проинтерпретировали этот мир в конструкторах обыденного мышления повседневной жизни, и именно эти объекты мышления воздействуют на их поведение, определяют цели их действий и доступные средства их достижения, — короче, помогают им сориентироваться в природном и социокультурном окружении и поладить с ним. Объекты мышления, созданные социальными учеными, отсылают нас к объектам мышления, созданным здравым смыслом людей, живущих повседневной жизнью среди других людей, и основаны на таких объектах. Так что используемые социальным ученым конструкторы являются, так сказать, конструкторами второго порядка, а именно конструкторами конструкторов, созданными действующими лицами на социальной сцене, чье поведение социальный ученый наблюдает и пытается объяснить в соответствии с процедурными<sup>17</sup> правилами своей науки.

Современные социальные науки столкнулись с серьезной дилеммой. Одна школа усматривает фундаментальное различие в структуре социального мира и мира природы. Однако такое понимание ведет к ошибочному заключению, будто бы социальные науки совершенно отличны от естественных, — точка зрения, игнорирующая тот факт, что определенные процедурные правила правильной организации мышления являются общими для всех эмпирических наук. Другая школа пытается рассматривать поведение человека таким же образом, каким представитель естественных наук смотрит на «поведение» своих объектов мышления, считая само собой разумеющимся, что методы естественных наук (и прежде всего математической физики), которые достигли столь замечательных результатов, являются единственно научными методами. С другой стороны, считается само собой разумеющимся, что само заимствование методов конструирования объектов естественных наук приводит к достоверному знанию социальной реальности. Однако эти два утверждения не совместимы. Даже в высшей степени утонченная и предельно развитая система бихевиоризма, к примеру, уводила бы далеко в сторону от конструктов, с помощью которых люди в их повседневной жизни переживают в опыте собственное поведение и поведение своих близких.

Для того чтобы преодолеть эту трудность, требуются специальные методологические приемы, среди которых — конструирование образцов рационального действия. В целях дальнейшего анализа специфической природы объектов мышления социальных наук следует охарактеризовать некоторые используемые в повседневной жизни конструкты здравого смысла. Ибо на последних основаны первые.

## II. Мыслительные конструкты здравого смысла

### 1. Здравый смысл индивида является системой типизированных конструктов

Попробуем определить способ, которым бодрствующий<sup>18</sup> взрослый человек взирает на интересубъективный мир повседневной жизни, в котором он действует и на который воздействует как человек среди людей. Этот мир существовал до нашего рождения, воспринимался в опыте и интерпретациях

других, наших предшественников, как упорядоченный. Теперь же он представлен нашему опыту и интерпретациям. Все интерпретации этого мира основаны на предшествующем опыте его восприятия, нашем собственном или переданном нам родителями или учителями; этот опыт как запас наличного знания («knowledge at hand») функционирует как схема референции.

К запасу наличного знания относится знание того, что мир, в котором мы живем, состоит из ограниченного числа объектов с более или менее определенными свойствами, объектов, среди которых мы передвигаемся, на которые мы можем воздействовать и которые сопротивляются этому воздействию. Однако ни один из этих объектов не воспринимается как изолированный. Он изначально помещен в горизонт уже знакомого и известного и как таковой воспринимается как неоспоримая данность до последующего упоминания, не проблематизированный, но в любое время проблематизируемый запас наличного знания. Непроблематизированный предшествующий опыт, однако, изначально дан как *типизированный*, т.е. несущий открытый горизонт ожидаемого сходного опыта. Внешний мир, к примеру, воспринимается в опыте не как нагромождение отдельных неповторимых объектов, рассеянных в пространстве и времени, но как «горы», «деревья», «животные», «люди». Я мог бы никогда не увидеть ирландского сеттера, но если я его видел, то я знаю, что это животное, а именно собака, демонстрирующая знакомые приметы и поведение, типичное для собаки, а не, скажем, кошки. Я могу задать резонный вопрос: «Какова порода этой собаки?» Вопрос предполагает, что отличие этой собаки от всех, которых я знаю, становится существенным и проблематизируется только благодаря тому, что по моему прошлому опыту я знаю, что такое типичная собака. В более специализированном языке Гуссерля, чей анализ типизаций в повседневной жизни мы попытались подытожить<sup>19</sup>, то, что испытывается в опыте реального восприятия объекта, апперцептивно передается любому другому сходному объекту, воспринимаемому лишь как тип. Реальный опыт подтверждает или не подтверждает моего предвосхищения (антиципации) типического сходства с другими объектами. Если подтверждает, антиципируемое содержание типа увеличивается; в то же время, тип может быть разбит на подтипы; с другой стороны, реальный объект обладает и индивидуальными свойствами, которые, тем не менее, воспринимаются в типизированной форме.

Наконец — и это очень важно — объект, воспринятый в типизированной форме, может рассматриваться как представитель (экземпляр) всеобщего типа и ведет меня к понятию этого типа, и мне не нужно никаких специальных средств, чтобы думать о конкретной собаке как об экземпляре всеобщего понятия «собака». Мой ирландский сеттер Ровер «в целом» демонстрирует все типичные черты, которые, согласно моему прошлому опыту, подразумеваются в понятии «собака». Однако меня не интересует то, что присуще ему наравне с другими собаками. Я вижу в нем своего друга и товарища Ровера, и в качестве такового отличного от всех прочих ирландских сеттеров, имеющих общие с ним черты внешности и поведения; я не склонен, не имея на то особой причины, видеть в Ровере млекопитающее, животное, объект внешнего мира, хотя я и знаю, что всем этим он тоже является.

Так, в естественной установке повседневной жизни мы имеем дело лишь с определенными объектами, выпадающими из непроблематизированного поля объектов прошлого опыта, и избирательная деятельность нашего разума определяет, какие именно характеристики такого объекта являются индивидуальными, а какие — типичными. Словом, нас интересуют лишь отдельные свойства такого объекта. Это значит, что если объект  $S$  имеет специфическое свойство  $r$ , выражение « $S$  есть  $r$ » является эллиптическим. Ибо  $S$ , взятое в его явленности мне как неоспоримой данности, не обладает лишь свойством  $r$ , но также и  $q$ , и  $g$ , и множеством других. Так что полное высказывание следует читать: « $S$  есть, помимо  $q$  и  $g$ , еще и  $r$ . Если я утверждаю по отношению к само собой разумеющимся элементам мира « $S$  есть  $r$ », то делаю это потому, что при данных обстоятельствах меня интересует бытие  $S$  в качестве  $r$ , безотносительно к его бытию в качестве  $q$  и  $g$ <sup>20</sup>.

Употребляемые здесь термины «интерес» и «релевантность» — лишь заголовки для серии сложных проблем, которые не могут рассматриваться вне рамок данной дискуссии. Но ограничимся лишь несколькими ремарками.

Человек в любой момент своей повседневной жизни находится в биографически детерминированной ситуации, т.е. в определяемом им физическом и социокультурном окружении<sup>21</sup>, в котором он занимает определенное место, не только в пространственно-временном или статусно-ролевом смысле, но и в морально-идеологическом<sup>22</sup>. Сказать, что ситуация является биографически детерминированной, значит сказать, что она

имеет свою историю; это осадок всего предшествующего опыта человека, организованного в привычные данности его личного знания, и как таковые являющиеся исключительно его личной собственностью, данной ему и только ему\*. Эта биографически детерминированная ситуация включает в себя определенные возможности будущих практических и теоретических форм деятельности, так называемые «наличные цели». Эта система релевантностей, в свою очередь, определяет, какие элементы должны составить основу обобщающей типизации, какие свойства этих элементов должны считаться характерно-типичными, а какие — уникальными и индивидуальными, т.е. насколько мы должны продвинуться в открытый горизонт типичности. В отношении нашего предыдущего примера это означает, что изменение моих наличных целей и присущих им систем релевантностей, сдвиг «контекста», в котором  $S$  мне интересен, может повлечь за собой сдвиг моего интереса к бытию  $S$  в качестве  $q$ , в то время как его бытие в качестве  $r$  становится нерелевантным.

## 2. Интерсубъективный характер повседневного знания и что из этого следует

Анализ первых конструкторов обыденного мышления повседневной жизни мы осуществляли так, как будто этот мир является моим собственным и как будто нам дано право пренебрегать тем, что он изначально является интерсубъективным миром культуры. Он интерсубъективен потому, что мы живем в нем как люди среди других людей, связанные с ними взаимным влиянием и работой, понимающие других и понимаемые ими. Это мир культуры, поскольку изначально мир повседневной жизни является для нас универсумом значений, текстурой смыслов, которые мы должны интерпретировать, чтобы найти в нем свое место и поладить с ним. Эта текстура значений, однако, — и это отличает царство культуры от царства природы — возникает и институциализируется в человеческой деятельности, нас самих и наших товарищей, современников и предков. Все объекты культуры — инструменты, символы, языковые системы, миры искусства, социальных институтов и т.д. — своим происхождением и значением указывают на деятель-

\* См. раздел «Выбор между проектами действия».

ность человеческих существ. Поэтому мы всегда осознаем историчность культуры, данной нам в традициях и обычаях. Эту историчность можно рассматривать в ее отношении к человеческой деятельности, осадком которой она является. По той же причине я не могу понять объект культуры без отнесения его к той форме человеческой деятельности, в которой он возник. Например, я не могу понять назначения инструмента без знания цели, которой он служит, знака или символа без знания того, что они замещают в голове того, кто их использует, института без понимания того, что он значит для тех, чье поведение он регулирует. На этом основан так называемый постулат субъективной интерпретации в социальных науках, который мы рассмотрим впоследствии.

Ближайшей же нашей задачей является, однако, рассмотрение дополнительных конструктов, возникающих в обыденном мышлении, если мы примем во внимание то, что этот мир является не моим частным, но intersubъективным и что, следовательно, мое знание о нем не является моим частным делом, но изначально intersubъективно или социализировано. Для этой цели нужно кратко рассмотреть три аспекта проблемы социализации знания:

- а) взаимность перспектив, или структурная социализация знания;
- б) социальное происхождение, или генетическая социализация знания;
- в) социальное распределение знания.

#### **а) Взаимность перспектив**

В естественной установке здравого смысла повседневной жизни я принимаю в качестве само собой разумеющегося существование наделенных разумом других людей. Из этого следует, что объекты этого мира в принципе доступны их знанию, либо уже известны, либо познаваемы ими. Этот вопрос я не проблематизирую. Но я также знаю и считаю само собой разумеющимся, что, строго говоря, «тот же самый» объект имеет несколько разные значения для меня и для кого бы то ни было еще. Причины этого кроются в том, что:

1) находясь «здесь», я расположен на ином расстоянии и воспринимаю в опыте иные типизированные стороны объектов, чем тот, кто находится «там». По той же причине некоторые объекты его поля досягаемости находятся вне моего (моего зрения, слуха, манипулятивной сферы и т.д.) и наоборот;

2) моя и другого биографически детерминированные ситуации, в которых наши наличные цели и системы релевантностей, порожденные этими целями, возникли, различны, во всяком случае, до некоторой степени.

Обыденное мышление преодолевает различия индивидуальных перспектив, порожденных этими двумя факторами, с помощью двух фундаментальных идеализаций:

1) идеализации взаимозаменяемости точек зрения: я считаю само собой разумеющимся — и полагаю, что другой делает то же самое, — что если нас поменять местами, так, чтобы его «здесь» стало моим, я буду на том же расстоянии от предметов и увижу их в той же системе типизаций, что и он; более того, в моей досягаемости будут те же предметы, что и в его (обратное также верно);

2) идеализации соответствия систем релевантностей: пока нет свидетельств обратному, я считаю само собой разумеющимся — и полагаю, что и другой тоже, — что различие перспектив, проистекающее из уникальности наших биографических ситуаций, нерелевантно наличным целям каждого из нас и что «мы» предполагаем, что каждый из нас отбирает и интерпретирует реально или потенциально общие нам объекты и их свойства одинаковым образом или, по меньшей мере, в «эмпирически идентичной» манере, достаточной для всех практических целей.

Очевидно, обе идеализации, т. е. взаимозаменяемости точек зрения и соответствия систем релевантностей, вместе составляющие *всеобщий тезис взаимности перспектив*, являются типизирующими конструктами, замещающими почерпнутые из личного опыта мои и другого объекты мышления. Оперирова этими конструктами обыденного мышления, можно предположить, что тот сектор мира, который я рассматриваю как неоспоримую данность, является таким же и для вас, моего индивидуального другого, более того, он является таковым для «Нас». Но это «Мы» включает не только меня и вас, но «любого, кто является одним из нас», т.е. любого, чья система релевантностей существенно (или в достаточной степени) соответствует моей и вашей. Таким образом, всеобщий тезис взаимности перспектив приводит к способности постижения объектов и их аспектов, реально известных мне и потенциально известных вам, как ко всеобщему знанию. Такое знание является объективным и безымянным (анонимным), т.е. дистанцировано и независимо от моего и другого определения ситуации, наших

уникальных биографических обстоятельств, реальных и потенциальных наличных целей.

Мы должны интерпретировать термины «объекты» и «стороны объектов» в как можно более широком смысле, как объекты познания вообще. Тогда мы постигаем важность интерсубъективных мыслительных конструктов, возникающих из только что описанной структурной социализации знания, для множества важных проблем, не проанализированных выдающимися представителями социальных наук достаточно глубоко. То, что, как мы полагаем, в общем, известно каждому, разделяющему с нами нашу систему релевантностей, так это способ жизни, воспринимаемый как естественный, хороший, правильный членами определенной группы<sup>23</sup>; как таковой, он порождает множество рецептов того, как обращаться с вещами и людьми в типизированной ситуации, нравов и тому подобного, «традиционного поведения» в веберовском смысле<sup>24</sup>, самоочевидных утверждений, в истинность которых члены таких групп верят, несмотря на их непоследовательность<sup>25</sup>, одним словом, представлений об «относительно естественных аспектах этого мира»<sup>26</sup>. Все эти термины относятся к конструктам типизированного знания высокосоциализированной структуры, замещающим мыслительные объекты личностного знания, как мои собственные, так и другого. Однако это знание имеет свою историю, оно часть нашего «социального наследия», и это приводит нас ко второму аспекту проблемы социализации знания, к структуре его генезиса.

#### **в) Социальное происхождение знания**

Лишь небольшая часть нашего знания о мире рождается в нашем личном опыте. Большая его часть имеет социальное происхождение, передана мне моими друзьями, родителями, учителями и учителями моих учителей. Меня научили не только тому, как определять свое окружение (т.е. типичные черты относительно естественных представлений о мире, принятые в той группе, к которой я принадлежу, как непроблематизированные, но в любой момент могущие оказаться под вопросом), но также и тому, как должны создаваться типические конструкты в соответствии с системой релевантностей, общепринятой в моей социальной группе. Они касаются жизненного стиля, способов контактировать с окружением, квалифицированные предписания того, как использовать типизированные средства для достижения типичных целей в типичных ситуациях. Это

типизирующие средства *par excellence* (по преимуществу. — Н.С.), с помощью которых социальное по происхождению знание передается в словарь и синтаксис обыденного языка. Используемый в повседневной жизни естественный язык изначально является языком имен вещей и событий, а любому имени присущи типизация и обобщение, относящиеся к преобладающей в данной лингвистической группе системе релевантностей, в рамках которой оно определяется; какая вещь заслуживает присвоения отдельного имени. Донаучный естественный язык можно рассматривать как сокровищницу готовых типов и характеристик, имеющих социальное происхождение и открытый горизонт неисследованного содержания.

#### **с) Социальное распределение знания**

Знание социально распределено. Всеобщий тезис взаимности перспектив, без сомнения, преодолевает сложность, проистекающую из того, что знание, которым я уже обладаю, является лишь потенциально возможным для другого и наоборот. Но запасы наличного знания, которым *в действительности* располагают индивиды, различны, и повседневное мышление считается с этим. Это различие касается не только того, *что* знает один индивид в отличие от другого, но и *как* они оба знают об одном и том же. Знание имеет множество степеней ясности, отчетливости, точности и освоенности. Если вспомнить известный пример У. Джемса<sup>27</sup> о различии между «ознакомлением» (knowledge of acquaintance) и «знанием» (knowledge about), становится очевидным, что о многих вещах я имею лишь смутное представление, они лишь знакомы мне, в то время как *вы* располагаете знанием об этих вещах как они есть, и наоборот. Я являюсь экспертом в сравнительно небольшой области знания, и «профан» во многих других областях, равно как и *вы*<sup>28</sup>. Любой индивидуальный запас знания в каждый момент структурирован на различные области ясности, отчетливости и точности. Эта структура возникает из преобладающих релевантностей и является биографически детерминированной. Само знание этих различий является элементом обыденного опыта: я знаю, с кем и при каких обстоятельствах мне нужно проконсультироваться как с «компетентным» доктором или юристом. Иными словами, в повседневной жизни я конструирую типы областей осведомленности Другого, область и текстуру его знания. При этом я исхожу из предположения, что он руководствуется определенной структурой релевантностей, воплощенной в мотивах и связанных с ними образцах

действия и даже оказывающих определяющее воздействие на его личность. Но это утверждение требует анализа конструкторов здравого смысла, относящихся к пониманию других, что и является нашей следующей задачей<sup>29</sup>.

### 3. Структура социального мира и его типизация в конструкторах здравого смысла

Я, человеческое существо, родившееся в социальном мире и живущее там своей повседневной жизнью, воспринимаю его в опыте организованным вокруг моего места в нем, открытым моим действиям и интерпретации, но всегда с учетом моей реальной биографически детерминированной ситуации. Лишь в отношении ко мне определенные типы отношений с другими обретают специфический смысл, обозначаемый словом «Мы»; лишь в отношении к «Нам», центром которых являюсь Я, другие становятся «Вами», отношение же к «Вам» отсылает обратно ко мне, и третья сторона выявляется как «Они». Во временном измерении в каждый момент моей биографии они «современники», с которыми я могу взаимодействовать и реагировать на их действия; «предки», на которых я не могу воздействовать, но чьи прошлые действия и результаты доступны моей интерпретации и могут воздействовать на мои собственные действия; и «потомки», о которых я ничего не могу знать из опыта, но на которых я могу ориентироваться в своих действиях в более или менее содержательных предвосхищениях будущего (антиципациях). Все эти отношения демонстрируют огромное многообразие форм близости и анонимности, знакомства и неизвестности, глубины и поверхностности<sup>30</sup>.

В данном контексте мы ограничимся отношениями, преобладающими между современниками. Оставаясь в пределах обыденного знания, мы можем считать само собой разумеющимся, что человек может понимать другого и его действия и что он может взаимодействовать с другими, предполагая, что они понимают его действия; а также и то, что такое взаимопонимание имеет свои пределы, но достаточно для большинства практических целей.

Среди моих современников есть такие, с которыми я разделяю — пока длится наше отношение — не только общее время, но и пространство. Для удобства терминологии мы будем называть таких современников «товарищами», а существующие

между ними отношения — отношениями «лицом-к-лицу», причем этот термин понимается в несколько ином смысле, чем тот, в котором его использовал Кули<sup>31</sup> и его последователи; мы обозначаем им лишь формальный аспект социальных отношений, равно приложимый как к доверительной беседе между друзьями, так и к со-присутствию случайных попутчиков в купе железнодорожного поезда.

Пребывание с кем-либо в общем пространстве означает, что определенный сектор внешнего мира, содержащий объекты, представляющие интерес для нас обоих, равно доступен как мне, так и моему партнеру. Наблюдению каждого партнера непосредственно доступны тело, жесты, походка и выражение лица другого, не только как предметы или события во внешнем мире, но и в их физиогномическом значении, т.е. как симптомы мыслей другого. Пребывание же с кем-либо в общем времени — и не только во внешнем (астрономическом), но и во внутреннем времени — подразумевает, что каждый партнер участвует в жизненном процессе другого и может схватить в живом настоящем развитие его мыслей. Они могут разделять предполагаемые планы на будущее, надежды и тревоги. Короче, товарищи (consociates) взаимно вовлечены в биографии друг друга; они вместе взрослеют; они живут, можно сказать, в чистом Мы-отношении.

В таком отношении, поверхностном и мимолетном, каким оно может оказаться, Другой схватывается как уникальная индивидуальность (хотя лишь отдельные проявления его личности доступны партнеру) в его уникальной биографической ситуации (хотя и обнаруживаемой лишь фрагментарно). Во всех других формах социальных взаимодействий (даже в отношениях между товарищами в той мере, в какой это касается нераскрытых сторон личности Другого) сущность другого человека может быть схвачена, используя ранее цитированное выражение Уайтхеда, с помощью «вклада в воображение гипотетически представляемого значения», т.е. формирования конструкторов типичного поведения, типичных мотивов, лежащих в его основании, типичного отношения к персональному идеальному типу, примером которого является поведение Другого, как в пределах, так и вне поля моей досягаемости. Мы не можем здесь<sup>32</sup> развивать полную таксономию структурирования социального мира и различных форм конструкций идеальных типов осуществления действия и персональных идеальных типов, необходимых для постижения поведения Другого. Думая о моем отсутствующем друге А, я формирую идеальный тип его личности и поведения на основе моего



прошлого опыта общения с А как с моим товарищем. Опуская письмо в почтовый ящик, я ожидаю, что неизвестный мне человек, называемый почтовым служащим, будет действовать типичным, хотя и не вполне понятным мне образом, в результате чего мое письмо достигнет адресата за разумное время. Не будучи знаком ни с одним французом или немцем, я понимаю, почему «Франция опасается ремилитаризации Германии». Подчиняясь правилам английской грамматики, я следую социально одобренным образцам современного языкового общения на английском языке, к которым я должен приспособиться в моем собственном речевом поведении, чтобы быть понятным. Наконец, остатки материальной культуры или утвари относятся к незнакомым мне людям, создавшим их для использования другими людьми для достижения типичных целей типичными средствами\*.

Это лишь несколько примеров, приведенных в порядке возрастания степени анонимности в отношениях между современниками, использования конструктов, необходимых для того, чтобы постичь их поведение. Ясно, что возрастание анонимности влечет за собой убывание полноты содержания. Чем более анонимен типизируемый конструкт, тем он более далек от уникальной индивидуальности человека и тем меньше черт его личности и образцов поведения входят в типизацию как релевантные наличным целям, для достижения которых и создан этот тип. Если провести различие между (субъективным) персональным типом и (объективным) типом осуществления действия, то можно сказать, что возрастание степени анонимности конструкта приводит к замене первого последним. Полное обезличивание предполагает, что индивиды взаимозаменяемы и идеальный тип осуществления действия относится к поведению кого бы то ни было, чьи действия соответствуют типизированным в конструкте.

Суммируя сказанное, можно сказать, что никогда, кроме как в чистых Мы-отношениях, мы не можем постичь уникальную индивидуальность Другого в его неповторимой биографической ситуации. В конструктах повседневного мышления Другой представлен, в лучшем случае, лишь частью своей сущности, и даже в чистое Мы-отношение входит лишь часть его личности. Это положение важно сразу в нескольких отношениях. Оно помогло Г. Зиммелю<sup>33</sup> преодолеть дилемму индивидуального и

\* Schutz A. The Problem of Rationality in the Social World // *Economica*. Vol. X. May 1943. Русск. пер.: Проблема рациональности в социальном мире (пер. В.Г. Николаева). См. ч. I наст. изд.

коллективного сознания, так отчетливо обрисованную Э. Дюркгеймом<sup>34</sup>; оно лежит в основе теории Кули<sup>35</sup> о происхождении собственного «я» как «эффекта зеркала»; оно привело Дж. Мида<sup>36</sup> к его оригинальному понятию «обобщенного другого»; наконец, оно имеет решающее значение для прояснения таких понятий, как «социальные функции», «социальная роль» и последнее по счету, но не по важности — «рациональное действие»\*.

Но это лишь часть дела. Мое конструирование другого как частичной персональности, как исполнителя типичных ролей или функций, сказывается на процессе самотипизации, когда я вступаю во взаимодействие с ним. Я вхожу в эти отношения не как целостная личность. Лишь определенные слои моей личности охватываются этими отношениями. Определяя роль Другого, я предписываю ее самому себе. Типизируя поведение Другого, я типизирую свое собственное, связанное с ним, превращая себя в пассажира, потребителя, налогоплательщика, читателя, свидетеля. Именно эта самотипизация лежит в основе проводимого У. Джемсом<sup>37</sup> и Дж. Мидом<sup>38</sup> различения «I» и «Me» в отношении к социальному Я (*self*).

Мы, однако, должны иметь в виду, что используемые для типизации Другого и меня самого конструкции здравого смысла имеют в значительной мере социальное происхождение и признание. Внутри заданной группы определенные типы персон и действий рассматриваются как сами собой разумеющиеся (пока ничто не свидетельствует против их очевидности), как набор правил и предписаний, выдержавших проверку в прошлом и, как ожидается, сохраняющих свое значение и в отношении будущего. Более того, образцы типизированных конструктов часто обращаются в стандарты поведения, поддерживаемые традиционными, привычными, а иногда и специальными средствами социального контроля, например правом.

#### 4. Типы осуществления действий и персональные типы

Теперь мы должны исследовать образец действия и социального взаимодействия, лежащий в основе идеальных типов персон и осуществления действий в обыденном мышлении.

\* Критический анализ этого понятия см.: Schutz A. The Problem of Rationality in the Social World // *Economica*. Vol. X. May 1934. Русск. пер.: Проблема рациональности в социальном мире (пер. В.Г. Николаева). См. ч. I наст. изд.

### а) *Действие, проект, мотив*

Используемый далее термин «действие» (action) будет означать предварительно обдуманное действующим человеческое поведение, т.е. поведение, основанное на заранее составленном проекте. Термин «дело» (act) будет означать результат протекающего процесса, т.е. завершённое действие. Действие может быть закрытым (например, попытка решить в уме научную проблему) или открытым, производящим изменения во внешнем мире; действие может быть по соглашению или по оплошности, причем сознательный отказ от действия также рассматривается как действие в подлинном смысле слова.

Любое проектирование состоит в предвосхищении будущего поведения с помощью фантазии, однако отправной точкой любого проектирования является не реально осуществляющийся процесс, а поступок в фантазии, рассматриваемый как якобы осуществлённый. Я должен представить себе состояние дел, на достижение которого направлено мое будущее действие, прежде, чем смогу сделать первый шаг для его достижения. Образно говоря, я должен иметь некую идею создаваемой структуры прежде, чем смогу снять с нее копии. Таким образом, я должен с помощью фантазии поместить себя в будущее время, когда дело сделано. Лишь тогда я смогу воссоздать в фантазии отдельные шаги своего будущего дела. В предложенной нами терминологии это не будущее действие, но будущее дело, предвосхищенное в проекте и в Будущем Совершенном Времени, modo futuri exacti. Эта свойственная проектированию временная перспектива обладает довольно важными следствиями.

1) Все проекты моих будущих дел основаны на том знании, которым я располагаю на момент проектирования. К нему принадлежит мой опыт ранее сделанных дел, типически сходных с проектируемым. Далее, процесс проектирования включает в себя определенную идеализацию, обозначенную Э. Гуссерлем как «Я могу сделать это снова»<sup>39</sup>, т.е. утверждение, что в типически сходных обстоятельствах я могу поступать типически сходным образом для того, чтобы достичь типически сходного состояния дел. Ясно, что эта идеализация включает в себя специфическую конструкцию. Мой запас наличного знания на момент проектирования, строго говоря, отличен от того, которым я располагаю по завершению запланированного дела, поскольку приобретенный мною опыт в процессе осуществления проекта внес изменения в мои биографические обстоятельства и увеличил объем моего опыта, сделав меня «взрослее». Так,

«повторенное» действие представляет собой нечто большее, чем простое воспроизводство. Первоначальное действие А' начиналось в обстоятельствах С' и привело к состоянию S'; повторное действие А'' начиналось в обстоятельствах С'' и, как предполагается, приведет к состоянию S''. С' с необходимостью отличается от С'', поскольку опыт А', успешно реализованный в состоянии S', принадлежит к моему запасу знания, ставшему элементом обстоятельств С'', в то время как запас знания, являющийся элементом ситуации С', представляет собой всего лишь неподтвержденные предвосхищения. Аналогично этому, S'' будет отличаться от S' так же, как и А'' от А'. Это так, поскольку все термины – С', С'', А', А'', S', S'' – представляют собой уникальные и неповторимые события. Однако именно те черты, которые делают их уникальными и неповторимыми в строгом смысле слова, в обыденном мышлении игнорируются как не имеющие отношения к поставленной цели. Осуществляя идеализацию «Я могу сделать это снова», я интересуюсь лишь типизациями А, С и S, а не тем, на чем они основаны. Эта конструкция состоит, образно говоря, в пренебрежении основаниями типизации как не относящимися к делу, и это, заметим, свойственно типизациям всех видов.

Это особенно важно в анализе понятия так называемого рационального действия. Очевидно, что в привычных и рутинных действиях повседневной жизни мы используем конструкции, данные в форме приблизительных предписаний и эмпирических правил, проверенных временем и сопрягающих цели и средства без четкого представления их подлинной связи. Даже в повседневном мышлении мы конструируем мир взаимосвязанных фактов, содержащий лишь те элементы, которые, как мы полагаем, имеют отношение к нашим целям.

2) Специфическая временная перспектива проекта до некоторой степени проливает свет на взаимоотношение между проектом и мотивом. В обыденной речи термин «мотив» используют для обозначения двух разных понятий, которые следует развести.

а) Мы можем сказать, что мотивом убийства было желание заполучить деньги жертвы. В этом контексте «мотив» означает состояние дел, цель, которую намерены достичь предпринимаемым действием. Такой тип мотивации мы будем называть «мотивом-для». С точки зрения действующего, такой тип мотивов относится к будущему. Состояние, вызываемое предварительно спроектированным в фантазии будущим действием,

является «мотивом-для» в отношении того, кто это действие осуществляет.

б) Мы можем сказать, что убийца мотивирован совершить свое злодеяние тем, что вырос в той или иной среде и имел такой-то детский опыт. Такой класс мотивов мы будем называть «(подлинными)<sup>40</sup> мотивами-потому-что», с точки зрения действующего относящимися к его прошлому опыту, побуждающему его действовать тем или иным образом. То, что заключено в словах «потому что», мотивирует проект действия как такового (например, удовлетворить свою потребность в деньгах с помощью убийства).

Мы не имеем возможности анализировать здесь<sup>41</sup> теорию мотивов более детально. Однако нужно отметить, что действующее лицо, живущее в длящемся процессе действия, руководствуется лишь мотивами-для, т.е. проектом достижения желаемого состояния дел. И лишь мысленно возвращаясь либо к завершённому поступку, либо к последним стадиям его осуществления, либо же к проекту, предвосхитившему его в будущем совершенном времени, действующий обретает возможность ретроспективно схватить мотив-потому-что, побудивший его совершить или задумать содеянное. Но в это время действующее лицо уже не действует, а наблюдает за самим собой.

Различие между двумя типами мотивов становится жизненно важным для анализа человеческих взаимодействий, к которому мы далее и переходим.

### **б) Социальное взаимодействие**

Любые формы социальных взаимодействий основаны на ранее описанных конструктах, относящихся к пониманию Другого и образцов действий вообще. Возьмем в качестве примера беседу между знакомыми, обменивающимися вопросами и ответами. Задумывая свой вопрос, я ожидаю, что Другой поймет мое действие (например, произнесение вопросительного предложения) как вопрос, и это понимание побудит его действовать таким образом, что я смогу понять его поведение как адекватный ответ. (Я: «Где чернила?» – Другой указывает на стол). «Мотив-для» моего действия в том, чтобы получить соответствующую информацию; в данной ситуации это предполагает, что понимание моего мотива-для станет мотивом потому-что Другого, чтобы исполнить «действие-для», снабжающее меня необходимой информацией, которую, я думаю, он может и хочет мне предоставить. Я ожидаю, что он понимает англий-

ский, знает, где чернила, и ответит мне, если знает. В общем случае я ожидаю, что он будет руководствоваться теми же мотивами, которыми я и многие другие руководствовались в типично сходных обстоятельствах. Наш пример показывает, что даже самые простые взаимодействия в повседневной жизни предполагают наличие серии конструктов здравого смысла – в данном случае конструктов ожидаемого поведения Другого, – основанных на идеализации, что «мотивы-для» действующего лица станут «мотивами-потому-что» его партнера и наоборот. Мы будем называть ее *идеализацией взаимности мотивов*. Очевидно, что эта идеализация основана на всеобщем тезисе взаимности перспектив, поскольку предполагает, что мотивы, приписываемые Другому, типически сходны с моими собственными или других людей в типично сходных обстоятельствах; они соответствуют моему приобретенному или социально наследованному знанию.

Предположим теперь, что я хочу раздобыть немного чернил, чтобы наполнить опустевшую авторучку и написать заявку в научный совет, которая, в случае ее удовлетворения, изменит всю мою жизнь. Я, действующий (вопрошающий), и только я знаю план того, как добиться желаемого, являющегося конечным «мотивом-для» моего данного действия, т.е. желаемого состояния дел. Конечно, оно может быть достигнуто лишь с помощью серии шагов (написания заявки, обретения необходимых письменных принадлежностей и т.д.), каждый из которых обращается в «действие» со своим особым проектом и мотивом-для. Однако все эти «побочные действия» – всего лишь этапы итогового действия, и все промежуточные шаги, на осуществление которых они направлены, – всего лишь средства для достижения определенной в первоначальном проекте конечной цели. Временная протяженность изначального проекта связывает воедино отдельные звенья подчиненных ему проектов. Это станет более понятным, если рассматривать цепочку взаимосвязанных подчиненных действий как «средства» достижения главной проектируемой цели, отдельные звенья могут быть заменены другими или выпасть совсем, не внося никаких изменений в изначальный проект. Если я не найду чернил, чтобы написать заявление, я могу воспользоваться пишущей машинкой.

Иными словами, лишь сам действующий знает, «где начинается и где заканчивается его действие», т.е. для чего оно должно быть выполнено. Временная протяженность его проектов связывает воедино его действия. Его партнер не имеет пред-

ставления ни о предшествующем проектировании, ни о контексте более высокого уровня целостности, куда помещено наблюдаемое им действие. Его познанию доступен лишь небольшой фрагмент выполняемого действия, а именно, наблюдаемое им завершённое дело или последние этапы завершающегося действия. Если впоследствии третье лицо спросит его о том, чего я хотел от него, то он ответил бы, что я хотел узнать, как раздобыть немного чернил. Это все, что ему известно о моем проектировании и его контексте, и он должен рассматривать его как целостное самодостаточное действие. Чтобы «понять», что для меня, действующего, означает мое действие, ему следовало бы начать с наблюдаемого поступка и, основываясь на нем, сконструировать его мотив-для, т.е. то, во имя чего я призвел наблюдаемое им действие.

Из сказанного понятно, что смысл действия существенно различен а) для действующего; б) для коммуникативного партнера, имеющего с ним общую систему релевантностей и целей; в) для невовлеченного наблюдателя. Это приводит к двум важным следствиям. Первое: в повседневном мышлении мы имеем лишь *возможность, шанс* понять действия Другого в той мере, в какой такое понимание достаточно для наших текущих нужд. Второе: для того чтобы увеличить наш шанс, мы должны поискать значение действия для самого действующего. Так что «постулат субъективной интерпретации значения», используя этот неудачный термин, является не отличительной чертой социологии Макса Вебера<sup>42</sup> или методологии социальных наук вообще, но принципом конструирования типов осуществления действия в обыденном опыте\*.

Но субъективная интерпретация значения возможна лишь как обнаружение мотивов, определяющих данное протекание действия. Связывая тип осуществления действия с пониманием лежащих в его основе типичных мотивов действующего, мы приходим к конструированию персонального типа. Последний может быть более или менее анонимным, относительно пустым или содержательным. В Мы-отношении между знакомыми способ осуществления действия, его мотивы (в той мере, в которой они демонстрируются) и его личность (в той мере, в которой она вовлечена в исполняемое действие) даны непосредственно, и

\* Ср.: Schutz A. Concept and Theory Formation in the Social Sciences. Русск. пер.: Понятие и формирование теории в социальных науках (пер. Н.М. Смирновой). См. ч. I наст. изд.

только что описанные идеальные типы обнаруживают очень низкую степень анонимности и очень высокую степень полноты. В конструировании типов осуществления действий просто современников, а не знакомых, мы приписываем более или менее анонимным действующим лицам набор предположительно инвариантных мотивов, управляющих их действиями. Этот набор представляет собой типизации ожидаемого поведения Другого и часто исследуется с помощью социальных ролей, функций или институционального поведения. В обыденном мышлении конструкты подобного рода имеют особое значение для проектирования действий, направленных на поведение моих современников (не знакомых мне лично). Они выполняют следующие функции:

1) Я считаю само собой разумеющимся, что мое действие (скажем, опускание в почтовый ящик адресованного и маркированного конверта) побудит неизвестного мне человека (почтальона) выполнить типичные действия (отправление письма) в соответствии с типичными мотивами-для (выполнять профессиональные обязанности) с тем, чтобы проектируемое мною состояние дел (доставка письма адресату за разумное время) было достигнуто.

2) Я также полагаю само собой разумеющимся, что мой конструкт идеального типа осуществления действия Другого в существенных моментах соответствует его собственной типизации, и к последней принадлежит типизированный конструкт моего (т.е. его анонимного партнера) типичного способа поведения, основанный на типичных и, как предполагается, неизменных мотивах. («Кто бы ни опускал в почтовый ящик должным образом адресованный и маркированный конверт, предполагается, что он будет доставлен адресату вовремя».)

3) Более того, в моей собственной самотипизации, будь то роль клиента или почтового служащего, я должен спроектировать мое типичное действие таким образом, каким, как я полагаю, типичный почтовый служащий ожидает увидеть поведение типичного клиента. Такой конструкт образцов взаимосвязанного поведения партнеров представляет собой конструкт взаимосвязанных «мотивов-для» и «мотивов-потому-что», которые, как предполагается, постоянны. Чем более институционализирован или стандартизирован такой образец поведения, т.е. чем более он типизирован в социально санкционированных законах, правилах, руководствах, обычаях и привычках, тем больше шансов того, что мое собственное самотипизированное поведение достигнет поставленной цели.

### с) *Наблюдатель*

Теперь нам нужно охарактеризовать ситуацию наблюдателя, не являющегося партнером в данном образце взаимодействия. Его собственные мотивы не взаимосвязаны с мотивами наблюдаемой персоны или персон; он ориентирован на них, а они на него — нет. Иными словами, наблюдатель не участвует в сложном зеркальном отражении, свойственном образцам взаимодействия современников, в которых «мотивы-для» действующего лица становятся понятны его партнеру как его собственные «мотивы-потому-что» и наоборот. Именно этот факт конституирует так называемую «незаинтересованность» или отстраненность наблюдателя. Он не разделяет ни надежд, ни страхов действующих, независимо от того, поймут ли они друг друга, достигнут ли своих целей путем взаимодействия мотивов. Таким образом, его система релевантностей отлична от той, которую разделяют заинтересованные стороны, и, в то же время, позволяет ему в той или иной степени видеть то, что видят они. Но при всех обстоятельствах его наблюдению доступны лишь отдельные фрагменты действий *обоих* партнеров. Чтобы понять их, наблюдатель должен воспользоваться типично сходными образцами взаимодействия в ситуационно сходной обстановке и сконструировать мотивы действующих лиц на основании типа осуществления действия, открытого его наблюдению. Конструкты наблюдателя, следовательно, отличны от тех, которые используют участники взаимодействия, по той причине, что цель наблюдателя отлична от цели взаимодействующих лиц, и, значит, системы релевантностей, соответствующие этим целям, также различны. В повседневной жизни наблюдателю дан лишь шанс, хотя и достаточный, для многих практических целей, схватить субъективное значение поступков действующего лица. Этот шанс возрастает вместе с ростом степени анонимности и стандартизации наблюдаемого поведения. Научный наблюдатель образцов человеческих взаимодействий, социальный ученый, должен разработать специальные методы построения своих конструктов, чтобы быть уверенным в их способности интерпретировать субъективные значения действий так, как их видят сами действующие лица. Среди подобных приемов нас особенно интересуют конструкты так называемых моделей рациональных действий. Но сначала рассмотрим возможные значения термина «рациональное действие» в обыденном опыте повседневной жизни.

## III. Рациональное действие в обыденном опыте\*

В обыденном языке не проводится строгих различий между поведением, основанном на чувстве и разуме, и рациональным поведением. Мы можем сказать, что поведение человека основано на чувстве, если мотив и способ его действия понятны нам, его партнерам или наблюдателям. Такое действие соответствует социально одобренному набору правил и предписаний того, как разрешить типичные проблемы, используя типичные средства для достижения типичных целей. Если я, мы или «один из нас» оказывается в типично сходных обстоятельствах, он поступает сходным образом. Однако поведение, основанное на чувстве, не предполагает, что действующий глубоко проникся своими мотивами и контекстом целей и средств. Сильная эмоциональная реакция против насильника может носить чувственный характер и быть необузданной. Если действие представляется наблюдателю основанным на чувстве и, вдобавок, как предполагается, порождено здравым выбором между различными способами действия, мы можем назвать его разумным, даже если такое действие следует само собой разумно понимаемым традиционным или привычным образцам поведения. Рациональное действие, однако, предполагает, что действующий имеет ясное и отчетливое представление<sup>43</sup> о целях, средствах и побочных результатах, которые «включают рациональное рассмотрение альтернативных средств достижения цели, взаимоотношения цели с другими ожидаемыми результатами использования данных средств и, наконец, сравнительную значимость различных возможных целей. Определение как аффективного, так и традиционного действия не совместимо с этим типом»<sup>44</sup>.

Эти весьма предварительные определения аффективных, разумных и рациональных действий даны в терминах обыденных интерпретаций других действий людей в повседневной жизни. А они относятся не только к само собой разумеющемуся знанию группы, к которой принадлежит наблюдатель, но

\* Ср. The Problem of Rationality in the Social World. Русский пер.: «Проблема рациональности социального мира (пер. В.Г. Николаева). См. ч. I наст. изд.

также и к субъективной точке зрения действующего, т.е. к наличному запасу его знания на момент осуществления действия. Это обстоятельство приводит к определенным затруднениям.

Во-первых, как мы уже знаем, именно наша биографическая ситуация определяет наличную проблему и, следовательно, систему релевантностей, в рамках которой типизируются определенные аспекты мира. Следовательно, запас знания действующего с необходимостью отличается от знания наблюдателя. Даже всеобщий тезис взаимности перспектив недостаточен для устранения этой трудности, поскольку он предполагает, что как наблюдатель, так и наблюдаемый разделяют существенно однородную — с точки зрения практических целей — систему релевантностей по структуре и содержанию. Если это не так, то процесс действия, который является абсолютно рациональным с точки зрения действующего, может казаться нерациональным для партнера или наблюдателя и наоборот. Обе попытки — вызвать дождь с помощью ритуального танца или же посыпание облаков йодистым серебром — являются рациональными действиями с субъективных точек зрения индейцев Хопи или современного метеоролога, но обе они рассматривались бы как нерациональные метеорологом 20 лет назад.

Во-вторых, даже если мы ограничим наше исследование субъективной точкой зрения, мы должны выяснить, существуют ли различия термина «рациональный» в смысле разумности в отношении моих прошлых поступков и будущего образа действий. На первый взгляд, различие кажется существенным. Что сделано, то сделано и не может быть изменено, хотя состояние, вызванное этими действиями, может быть изменено или устранено противоположно направленными действиями. У меня нет выбора в отношении прошлых действий. Все, что проектировалось в отношении прошлых действий, осуществилось или не осуществилось в результате моего действия. С другой стороны, все будущие действия проектируются на основе идеализации «Я могу сделать это снова», которая может выдерживать, а может и не выдержать проверки.

Более внимательный анализ, однако, свидетельствует, что, даже рассуждая о разумности наших прошлых действий, мы всегда обращаемся к тому наличному знанию, которым мы располагали на момент проектирования этого действия. Если мы обнаруживаем, что ранее спроектированное как разумное действие при известных обстоятельствах таковым не является, мы можем обвинять себя в различных ошибках: ошибке в суж-

дении, если определяющие обстоятельства были некорректно или неполно установлены, в недостатке предвидения, если не смогли предвосхитить будущее развитие событий, и т.д. Однако мы не скажем, что поступали неразумно.

Таким образом, в обоих случаях, т.е. в отношении как прошлого, так и будущего действия, наше суждение о его разумности относится к проекту, определяющему способ осуществления действия, точнее, к выбору между различными проектами. Как будет показано далее<sup>45</sup>, любое проектирование будущего действия включает в себя выбор, по меньшей мере, между двумя способами поведения, а именно: осуществление спроектированного действия или отказ от него.

Каждая из представленных к выбору альтернатив, как говорит Д. Дьюи<sup>46</sup>, должна быть отрететирована в фантазии, для того чтобы выбор и решение стали возможны. Если такое рассмотрение строго рационально, то действующий должен иметь ясное и отчетливое представление обо всех элементах каждого проектируемого образа действия, из которых он выбирает:

а) изначальное состояние, в котором проектируемое действие должно начинаться. Оно включает в себя достаточно точное определение биографической ситуации в природном и социально-культурном окружении;

б) конечное состояние, к которому приведет осуществление спроектированного действия, т.е. его цель. И хотя не существует изолированных проектов (все существующие в моей голове на данный момент времени проекты объединены в систему проектов, называемых планами, и все планы объединены в общий жизненный план), не существует также и изолированных целей. Они иерархически взаимосвязаны, и достижение одной из них может оказать воздействие на другую. Следовательно, я должен располагать ясным и отчетливым знанием того, какое место занимает данный проект в иерархической системе моих планов (или взаимоотношения поставленных целей с другими целями), представлением о сравнимости его с другими, о его возможном на них воздействии, короче, о вторичных результатах моего будущего действия, как назвал их М. Вебер<sup>47</sup>;

с) различные средства, необходимые для достижения поставленной цели, их доступность, степень практической целесообразности их применения, возможности привлечения тех же средств для достижения других возможных целей, совместимости избранных средств с другими средствами, необходимыми для осуществления других проектов.

Сложность существенно возрастает, если проект рационального действия включает в себя рациональное действие или воздействие другого, скажем компаньона. Проектирование рациональных действий подобного рода предполагает не только мое собственное ясное и отчетливое знание отправной ситуации, но и того, как ее определил Другой. Более того, необходима определенная вероятность того, что Другой будет рассматривать мое действие, определяемое «мотивом-для», как достаточное для возникновения его «мотива-потому-что». Если это так, то шанс того, что Другой поймет меня, достаточно велик. Применительно к рациональному взаимодействию это означает, что он будет рассматривать мое действие как рациональное и реагировать рациональным образом. Утверждение, что Другой будет действовать именно так, однако, подразумевает, что, с одной стороны, он располагает ясным и отчетливым знанием моего проекта и его места в иерархии моих планов (во всяком случае, в той мере, в какой мои действия это демонстрируют) и свойственной ей системе релевантностей. С другой стороны, это означает, что структура и границы его личного знания, по большей части, существенно сходны с моими и что наши системы релевантностей, по крайней мере частично, совпадают. Далее, если я допускаю, что реакция Другого на проектируемое мною действие будет рациональной, то я предполагаю, что, проектируя свой ответ, он имеет ясное и отчетливое знание обо всем, перечисленном в пунктах а), б) и в). Наконец, если я проектирую рациональное действие, осуществление которого предполагает взаимосвязь наших мотивов (т.е. я хочу, чтобы Другой что-то сделал для меня), то я, соответственно, должен располагать достаточным знанием того, что знает Другой (в отношении моих целей), и это знание о нем предполагает достаточную осведомленность в том, что мне известно. Таково условие *идеальной* рациональной интерпретации, поскольку, не располагая подобным совместным знанием, я не могу «рационально» проектировать достижение своей цели, рассчитывая на сотрудничество или ответную реакцию Другого. Более того, такое совместное знание должно быть ясным и отчетливым; лишь смутных ожиданий того, как поведет себя Другой, недостаточно.

Может показаться, что подобные условия делают рациональное социальное взаимодействие практически невозможным даже для людей, знакомых друг с другом. Однако мы получаем рациональные ответы на рациональные вопросы, наши

команды выполняются, мы осуществляем в высшей степени «рационализированные» виды деятельности на заводах, в лабораториях и офисах, играем в шахматы, короче, мы способны поладить со своими товарищами. Как это возможно?

Возможны два различных ответа. Первый: в случае взаимодействия между близкими партнерами мы можем предположить, что взаимное участие в круговороте жизни, а также тот факт, что Другой разделяет ожидания, столь характерные для чистых «Мы-отношений», создают предпосылки для анализируемого нами рационального взаимодействия. Однако именно это чистое «Мы-отношение» является иррациональным элементом любого взаимодействия между близкими партнерами. Второй ответ относится не только к взаимоотношениям близких партнеров, но и современников вообще. Мы можем объяснить рациональность человеческих взаимодействий тем, что действия обоих действующих лиц ориентированы на определенные социально одобренные стандарты и правила поведения, принятые в той группе, к которой они принадлежат: нормы поведения, манеры, правила шахматной игры и т.д. Но ни происхождение, ни заимствование этих социально одобренных стандартов невозможно понять «рационально». Такие стандарты могут следовать традиции или приниматься по привычке как сами собой разумеющиеся, и, как следует из наших предыдущих рассуждений, такого рода поведение, основанное на чувстве или даже разуме, вовсе не обязательно рационально. По крайней мере, оно не будет «идеально» рациональным, т.е. отвечающим всем требованиям, выработанным в процессе анализа данного понятия.

Таким образом, мы пришли к заключению, что «рациональное действие» на уровне здравого смысла — это всегда действие в рамках непроблематизированного и неопределенного набора типизаций мотивов, средств и целей, способов действия и персон, его выполняющих, принимаемых в качестве само собой разумеющихся. Они, однако, принимаются как сами собой разумеющиеся не только самим действующим, но и его партнером. В этом наборе типизированных конструктов с неопределенным горизонтом лишь отдельные элементы ясно и отчетливо определены. На них и основана рациональность повседневной жизни. Так что мы можем сказать, что на этом уровне действия являются, в лучшем случае, частично рациональными и что рациональность имеет множество степеней. Например, наше предположение, что коммуникативный партнер знает все ра-

циональные составляющие нашего взаимодействия, не может быть «эмпирически достоверным» (пока не доказано обратное)<sup>48</sup>. Ему всегда присущ вероятностный характер, т.е. субъективная вероятность (в противоположность математической вероятности). Мы всегда должны «ухватить шанс», «рисковать», и эта ситуация выражена в наших надеждах и страхах, являющихся следствием фундаментальной неопределенности в отношении результата нашего проектируемого взаимодействия.

Чем более стандартизирован преобладающий образец действия, тем более анонимным он является, тем более велик субъективный шанс на достижение согласия и, таким образом, на успех интересубъективного поведения. Однако — и это парадокс рациональности на уровне здравого смысла — чем более стандартизирован образец, тем менее поддаются рациональному анализу на уровне повседневного мышления его элементы.

Все это относится к критерию рациональности повседневного мышления и его конструктов. И лишь на уровне моделей образцов взаимодействия, создаваемых социальным ученым в соответствии с определенными требованиями метода своей науки, понятие рациональности обретает свое подлинное значение. Для пояснения сказанного необходимо в первую очередь проанализировать основные черты таких научных конструктов и их отношение к «реальности» социального мира в том виде, в каком последняя предстает обыденному мышлению повседневной жизни.

## IV. Мыслительные конструкты социальных наук

### 1. Постулат субъективной интерпретации

Едва ли социальные ученые будут спорить с тем, что объектом социальных наук является человеческое поведение, его формы, его организация и его результаты. Различные мнения, однако, существуют по поводу того, должны ли мы изучать это поведение таким же образом, каким представители естественных наук исследуют свой объект, или же целью социальных наук является объяснение «социальной реальности» в том виде, в каком она представлена в опыте повседневной жизни

человека, живущего в социальном мире. Во вступительной части настоящей дискуссии мы попытались показать, что эти принципы не совместимы друг с другом. Теперь же мы будем придерживаться той точки зрения, что социальные науки должны изучать человеческое поведение и его повседневные интерпретации социальной реальности, включая анализ системы проектов и мотивов, релевантностей и тех конструктов, которые описаны в предыдущих разделах. Такой анализ с необходимостью апеллирует к субъективной точке зрения, а именно, к интерпретации действия и его рамок в терминах самого действующего. А поскольку постулат субъективной интерпретации является, как видим, всеобщим принципом конструирования типов осуществления действия в повседневном опыте, любая социальная наука, желающая схватить «социальную реальность», должна также принять этот принцип.

На первый взгляд может, однако, показаться, что это утверждение противоречит хорошо установленным правилам метода даже наиболее развитых социальных наук. Возьмем, к примеру, современную экономику. Неужели «поведение цен», а не поведение людей в рыночной ситуации является предметом исследования экономиста? Изменение кривой цен, а не ожидания экономических субъектов, воплощенные в этой кривой? Разве экономист исследует такие предметы, как «капитал», «цикл бизнеса», «заработная плата», «занятость», «монополия», так, как будто эти явления совершенно не зависят от деятельности экономических субъектов, даже если и не обращается к структуре субъективных значений, присущих субъектам этих видов деятельности? Достижения современных экономических теорий не оставляют сомнений в том, что абстрактные концептуальные схемы могут весьма успешно использоваться для решения многих проблем. И сходные примеры можно найти практически во всех других социальных науках. Более внимательный анализ, однако, показывает, что такая абстрактная концептуальная схема — не более чем тип интеллектуальной стенографии и что лежащие в ее основе субъективные элементы человеческих действий не проблематизируются или полагаются не имеющими отношения к поставленной задаче. Корректно сформулированный постулат субъективной интерпретации в приложении к экономике и другим социальным наукам означает лишь то, что мы всегда *можем*, — а в некоторых случаях и *должны* — обращаться к деятельности субъектов в социальном мире и к их интерпретациям собственных дей-



ствий в терминах проектов, доступных средств, мотивов, релевантностей и т.д.<sup>49</sup>

Но если это так, необходимо ответить еще на два вопроса. Первый: из предыдущего анализа следует, что субъективное значение действия для самого действующего является уникальным и индивидуальным, поскольку возникает в уникальной и индивидуальной ситуации действующего. Как же можно схватить субъективное значение научными методами? Второй: контекст значений любой системы научного знания является объективным знанием, но равно доступным всем ученым и их контролю, т.е. оно может быть подтверждено или опровергнуто ими. Как же можно схватить субъективные структуры значений в системе объективного знания? Не парадокс ли это?

На оба эти вопроса можно дать удовлетворительный ответ в ходе двух несложных размышлений. Что касается первого, то мы знаем, что, по Уайтхеду, все науки должны конструировать свои собственные идеальные объекты, замещающие объекты обыденного мышления. Идеальные объекты социальных наук не относятся к уникальным поступкам уникальных индивидов в уникальной ситуации. С помощью специальных методологических средств, которые мы далее и опишем, социальный ученый заменяет объекты повседневного мышления, относящиеся к уникальным событиям и обстоятельствам, моделями того сектора социального мира, в котором происходят типизированные события, относящиеся к рассматриваемой ученым научной проблеме. Все остальное, происходящее в социальном мире, считается нерелевантным, случайными «данными», которые следует исключить из рассмотрения с помощью специальной методологической техники, например утверждения «при прочих равных условиях»<sup>50</sup>. Тем не менее, можно построить такую модель сектора социального мира, которая содержала бы типичные человеческие взаимодействия, и анализировать образцы такого типичного взаимодействия с точки зрения значений, которые могут иметь для персональных идеальных типов действующего осуществляемые им действия.

Второй вопрос. Важнейшей задачей социальных наук является развитие методологических схем для постижения объективного и проверяемого знания субъективной структуры значений. Чтобы понять это, нам следует кратко рассмотреть особую позицию ученого по отношению к социальному миру.

## 2. Социальный ученый как незаинтересованный наблюдатель

Социальный ученый занимает позицию незаинтересованного наблюдателя в социальном мире. Он не является частью наблюдаемой ситуации, которая имеет для него не практический, а лишь познавательный интерес. Это не театр его действий, а всего лишь объект размышлений. Он не действует в ней как заинтересованное лицо, с надеждами и опасениями в отношении результатов своих действий, но взирает на нее с отстраненным хладнокровием, подобно тому как представитель естественных наук наблюдает за происходящим в его лаборатории.

И здесь необходимо небольшое пояснение. Конечно, в своей повседневной жизни социальный ученый остается человеческим существом, живущим среди других людей, с которыми он взаимодействует множеством способов. И, конечно, сама научная деятельность осуществляется в рамках традиций социально наследованного знания, основана на взаимодействии с другими учеными, требует взаимного сотрудничества и критичности и может протекать лишь в социальном взаимодействии. Но в той мере, в какой научная деятельность имеет социальное основание, она является одной из множества видов деятельности, осуществляемых в социальном мире. Но наука как социальное явление — это одно, а специфически научная позиция ученого по отношению к своему объекту — совсем другое, и именно такую позицию мы и предлагаем рассмотреть в дальнейшем изложении.

Наш анализ обыденных интерпретаций социального мира в повседневной жизни показывает, как биографическая ситуация человека в естественной установке сознания определяет его цели в любой момент времени. Принятая им система релевантностей определяет круг отдельных объектов и их типичных свойств, являющихся непроблематизированным фундаментом того, что принимается как само собой разумеющееся. В повседневной жизни человек считает себя центром социального мира, сгруппированного вокруг него на разных уровнях и с различной степенью близости и анонимности. Решением принять позицию незаинтересованного наблюдателя или, принятой нами терминологии, — определяя научную работу как свой жизненный план, — социальный ученый дистанцируется от собственной биографической ситуации в социальном мире. То, что в биографической ситуации повседневной жиз-

ни принимается как само собой разумеющееся, ученый может проблематизировать и наоборот; то, что кажется в высшей степени важным и значимым на одном уровне, может полностью потерять свое значение на другом. Центр ориентации в социальном мире претерпевает радикальный сдвиг, равно как и иерархия планов и проектов. Решение осуществить план научной работы во имя бескорыстного поиска истины в соответствии с ранее установленными правилами научного метода погружает социального ученого в организованную систему значений, называемую корпусом его науки<sup>51</sup>. Он также должен принять то, что установлено другими учеными, или объяснить, почему он не может этого сделать. И только в рамках этого знания он может сформулировать свою научную проблему, дать ее научное решение. Эти рамки конституируют его «пребывание в научной ситуации», заменяющей ему его биографическую ситуацию как человека в социальном мире. Как только научная проблема поставлена, ею и только ею определяется то, что имеет, а что не имеет отношения к ее решению и, таким образом, что надлежит исследовать, а что лишь принять к сведению как «данные». Наконец, она определяет уровень исследования в самом широком смысле, т.е. абстракции, обобщения, формализации и идеализации, словом, конструкты, необходимые и приемлемые для рассмотрения и решения проблемы. Иными словами, научная проблема является местом встречи («локусом») всех возможных конструктов, релевантных ее решению, и каждый такой конструкт несет на себе печать отношения к той проблеме, ради которой он создан. А это означает, что любое изменение решаемой проблемы и уровня ее рассмотрения влечет за собой модификацию структур релевантности и конструктов, созданных для решения другой проблемы или той же самой на ином уровне; очень много непонимания и путаницы, особенно в социальных науках, возникает из-за пренебрежения этим фактом.

### 3. Различия между обыденными и научными конструктами образцов действия

Давайте кратко (и далеко не полно) рассмотрим некоторые наиболее важные различия между обыденными и научными конструктами образцов взаимодействия, возникающие при переходе от биографически предопределенной к научной ситуации. Структуры обыденного мышления формируются в со-

циальном мире с позиции «здесь», которая предполагает взаимность перспектив. В них социально наследованное и социально одобренное знание не проблематизируется. Социальное распределение знания определяет структуру типизирующих конструктов, например, предполагаемую степень анонимности персональных ролей, стандартизацию образцов осуществления действия, предполагаемое постоянство мотивов. Однако социальное распределение знания зависит от неоднородности состава самого запаса наличного знания, являющегося элементом обыденного опыта. Понятия «Мы», «Вы», «Они», «внутригрупповой», «межгрупповой», современники, предки и потомки — все они с присущим им распределением близости и анонимности, по меньшей мере, предполагают обыденные типизации или соотносимы с ними. Все это справедливо не только в отношении участников, но и наблюдателя образца социального взаимодействия, производящего наблюдения с позиции собственной биографической ситуации в социальном мире. Различие между ними состоит лишь в том, что участник образца социального взаимодействия, руководствуясь идеализацией взаимности мотивов, считает собственные мотивы взаимосвязанными с мотивами его партнера, в то время как наблюдателю доступны лишь явно обнаруживаемые фрагменты их действий. Однако как участники, так и наблюдатель создают конструкты обыденного мышления в соответствии с собственной биографической ситуацией. В каждом из этих случаев такие конструкты имеют свое определенное место в цепи мотивов биографически детерминированной иерархии планов его создателя.

Конструкты же образцов человеческих взаимодействий, однако, совершенно иного рода. Социальный ученый не имеет собственного «здесь» внутри социального мира, точнее, он рассматривает свое положение в нем и систему релевантностей, с ней связанную, как не имеющие отношения к его научной деятельности. Его запас наличного знания составляет корпус его науки, и он должен принять его в качестве само собой разумеющегося, что в данном контексте означает — в качестве научно достоверного, — если он не в состоянии четко объяснить, почему он не может этого сделать. К корпусу научного знания принадлежат и выдержавшие проверку правила научной процедуры, а именно, методы его науки, включая методы построения научных конструктов. Запас научного знания имеет иную структуру, чем та, что присуща обыденному знанию человека в повседневной жизни. Уточним, что оно также имеет множество степе-

ней ясности и отчетливости. Но то, как оно структурировано, зависит от знания, полученного в результате решения других проблем, от их пока еще не обнаруженных следствий и открытых горизонтов пока что не решенных проблем. Ученый считает само собой разумеющимся, что то, что он определяет, является «данными», независимо от верований, принятых той или иной социальной группой в мире повседневной жизни. И лишь поставленная научная проблема определяет структуру релевантностей.

Не имея собственного «здесь» в социальном мире, социальный ученый не организует этот мир вокруг себя самого. Он никогда не может войти в образец взаимодействия как одно из действующих лиц социального театра, не отказавшись, хотя бы на время, от своей научной установки. Участвующий наблюдатель или полевой работник входит в контакт с изучаемой группой как человек среди людей; лишь система релевантностей, служащая схемой отбора и интерпретации данных, определена его научной установкой, временно отодвинутой на второй план, чтобы быть возобновленной вновь.

Таким образом, принимая научную установку, социальный ученый наблюдает образцы человеческих взаимодействий или их результаты в той мере, в какой они доступны его наблюдению и открыты его интерпретации. Однако эти образцы взаимодействия он должен интерпретировать с помощью присущей им структуры субъективных значений, в противном случае он теряет всякую надежду постичь «социальную реальность».

Для того чтобы соответствовать этому постулату (субъективной интерпретации. — *Н.С.*), научный наблюдатель действует аналогично наблюдающему образцу социального взаимодействия в повседневной жизни, однако руководствуется совершенно иной системой релевантностей.

#### 4. Научная модель социального мира<sup>52</sup>

Научный наблюдатель конструирует образцы типичного способа исполнения действия в соответствии с наблюдаемыми явлениями. Основываясь на них, он строит соответствующие им образцы персональных типов, т.е. модели наделенных сознанием действующих лиц. Однако содержание сознания персонального типа ограничено элементами, относящимися к наблюдаемым образцам способов исполнения действия, релевантных изучаемой научной проблеме. Таким образом, он приписывает

вымышленному сознанию набор типичных «мотивов-для», соответствующих целям наблюдаемых образцов исполнения действия, и типичных мотивов «потому-что», на которых основаны «мотивы-для». Предполагается, что и тот, и другой мотив остаются неизменными в голове воображаемой модели действующего.

Однако такие модели действующих лиц не являются людьми с собственной биографией, живущими в социальном мире повседневной жизни. Строго говоря, у них нет ни биографии, ни истории, и ситуация, в которой они находятся, определена не ими, а их создателем, социальным ученым. Он создал этих марионеток или гомункулов для собственных целей. Социальный ученый наделил их лишь видимостью сознания, причем таким образом, чтобы предполагаемый запас их наличного знания (включающего набор неизменных мотивов) делал их действия субъективно понятными, как если бы они выполнялись реальными действующими лицами социального мира. Но марионетка и ее вымышленное сознание не подчиняются онтологическим условиям человеческого существования. Гомункул не родился, он не взрослеет и не умрет. У него нет ни надежд, ни страхов; ему неведомо ощущение беспокойства как главный мотив его действий. Он не свободен в том смысле, что не может выйти за рамки, предопределенные его создателем, социальным ученым. У него, следовательно, не может быть иных конфликтов, интересов и мотивов, чем те, которыми его наделил социальный ученый. Он не может ошибаться, если ошибка не является его типичной судьбой. У него нет выбора, кроме тех альтернатив, которые предоставлены ему социальным ученым. В то время как человек, как хорошо показал Г. Зиммель, входит в социальное взаимодействие лишь частью своей личности и в одно и то же время пребывает как в нем, так и за его пределами, гомункул вовлечен в социальное взаимодействие целиком. Он всего лишь производное его типичной функции, поскольку приданное ему вымышленное сознание содержит лишь элементы, необходимые для того, чтобы придать этим функциям субъективное значение.

Давайте рассмотрим некоторые скрытые смыслы этой общей характеристики научных моделей. Гомункул помещен в систему релевантностей, возникающую из научной проблемы его создателя, а не в биографически определенную ситуацию действующего в социальном мире. Именно ученый определяет, где для его марионетки Здесь и Там, что находится в пределах его досягаемости, и кто для него Мы, Вы или Они. Ученый

определяет предполагаемый запас наличного знания своей модели. Этот запас знания не является социально наследованным и, если не оговорено обратное, не является социально одобренным. И лишь система релевантностей, присущая рассматриваемой проблеме, определяет его внутреннюю структуру, а именно, элементы, в отношении которых, как предполагается, гомункул обладает знанием, элементы, о которых он лишь осведомлен, и элементы, которые он считает само собой разумеющимися. Этим (системой релевантностей. — Н.С.) определяются и предполагаемые степени близости и анонимности, и приданный ему уровень типизации социального опыта.

Если такая модель действующего предусматривает его взаимодействие с другими действующими лицами, такими же гомункулами, то взаимодействие их мотивов — в соответствии со всеобщим тезисом взаимности перспектив — определяется их создателем. Персональный тип и тип исполнения действия, созданные партнером-марионеткой, включая определение систем релевантностей, ролей и мотивов, не являются лишь возможностью, которая может осуществиться, а может и не иметь места в последующих событиях. Гомункулам не присущи неоправданные ожидания того, какой будет реакция Другого на его действия и типизации. Он не может играть никакой другой роли, кроме той, что предписана ему директором кукольного театра, называемого моделью социального мира. Именно социальный ученый устанавливает сцену, распределяет роли, раздает реплики, определяет, где действие началось, а где закончилось, задает «размах проектов». Все стандарты и институты, управляющие поведенческим образом модели, снабжены с самого начала конструктами научного наблюдателя.

В подобной упрощенной модели социального мира возможны чисто рациональное поведение и рациональный выбор из рациональных мотивов, поскольку все трудности, препятствующие реальному действующему лицу в повседневном жизненном мире, устранены. Таким образом, ранее определенное понятие рациональности в строгом смысле слова относится не к действиям, основанным на обыденном опыте повседневной жизни в социальном мире; оно относится в особом типе конструктов, специфически-определенных моделей социального мира, созданных социальным ученым для специфически-определенных методологических целей.

Прежде чем обсуждать определенные функции «рациональных» моделей социального мира, следует, однако, указать на

некоторые принципы, управляющие конструированием научных моделей человеческого действия вообще.

## 5. Постулаты научного моделирования социального мира

Ранее мы говорили о том, что основной задачей социальных наук является развитие метода, позволяющего осуществлять объективные операции с субъективными значениями человеческого действия, и что идеальные объекты социальных наук, описывающие социальную реальность, должны быть совместимы с объектами обыденного мышления людей в повседневной жизни. Описанные выше модельные конструкции отвечают этим требованиям, если они построены в соответствии со следующими постулатами.

### а) *Постулат логической последовательности*

Научная система типизированных конструктов должна быть установлена с высшей степенью ясности и отчетливости ее концептуальных рамок и должна быть целиком совместима с правилами формальной логики. Выполнение этого постулата гарантирует объективную достоверность созданных социальным ученым идеальных объектов, и их строго логический характер является одной из наиболее важных черт, отличающих идеальные объекты науки от замещаемых ими объектов обыденного мышления повседневной жизни.

### б) *Постулат субъективной интерпретации*

Для того чтобы объяснить человеческие действия, ученый должен спросить себя, какую модель индивидуального сознания можно создать и какое типичное содержание должно быть ей придано, чтобы она могла объяснить наблюдаемые факты как продукт деятельности такого сознания в доступных пониманию отношениях. Следование этому постулату гарантирует возможность сводить все виды человеческих действий или их результаты к субъективным значениям таких действий или их результатов, т.е. значений, придаваемых самим действующим своему действию.

### в) *Постулат адекватности*

Каждый термин в научной модели человеческого действия должен быть таким, чтобы индивидуальное человеческое по-

ведение в жизненном мире, соответствующее этому конструкту, было бы понятно как самому действующему, так и его партнерам в терминах обыденных интерпретаций повседневной жизни. Следование этому постулату гарантирует совместимость конструктов социального ученого с конструктами обыденного опыта социальной реальности.

## **V. Научные модели конструктов образцов рационального действия**

Чтобы быть научными, все модельные конструкты социального мира должны отвечать требованиям всех трех постулатов. Но не является ли тот или иной конструкт, отвечающий постулату логической последовательности, или любая форма научной деятельности рациональной по определению?

Это, конечно, так, но мы хотели бы избежать опасности неправильного понимания. Мы должны различать рациональные конструкты моделей человеческих действий, с одной стороны, и конструкты моделей рациональных человеческих действий — с другой. Наука может строить рациональные модели иррационального поведения, как показывает даже беглый взгляд в учебник по психиатрии. С другой стороны, обыденное мышление часто создает иррациональные модели в высшей степени рационального поведения, объясняя экономические, политические, военные и даже научные решения ссылками на чувства или идеологемы, которые якобы управляют поведением тех, кто их принимает. Рациональность модельных конструкций — это одно, и в этом смысле все научные модели, а не только социальных наук, рациональны; модельные же конструкции рационального поведения — совсем другое. Было бы серьезным заблуждением полагать, что целью модельных конструкций социальных наук или же критерием их научности является интерпретация иррациональных образцов поведения так, как будто бы они рациональны.

В данном случае нас главным образом интересует использование научных — а следовательно, рациональных — моделей образцов рационального поведения. Нетрудно видеть, что научный конструкт совершенно рационального типа исполнения действия, соответствующего персональному идеальному типу, а также рациональным образцам взаимодействия, в принципе

возможен. Ведь создавая модель вымышленного сознания, ученый может отбирать как существенные для решения его проблемы лишь те элементы, которые делают возможными рациональные действия и реакции его гомункулов. Постулат рациональности, которому должен отвечать такой конструкт, можно сформулировать так: рациональные персональные типы и типы исполнения действия должны быть сконструированы так, чтобы действующий в жизненном мире исполнял бы типичное действие, если он располагает ясным и отчетливым знанием всех тех его элементов, которые социальный ученый полагает относящимися к действию, и использует наиболее подходящие средства, находящиеся в его распоряжении, для достижения цели, определенной этим конструктом.

Преимущество использования таких моделей рационального поведения в социальных науках может быть охарактеризовано следующим образом:

1) возможность конструирования образцов социального взаимодействия при условии, что все участники такого взаимодействия ведут себя рационально в пределах условий, средств, целей и мотивов, определенных социальным ученым как общие для всех участников или распределенные между ними определенным образом. Стандартизированное поведение, такое, как социальные роли, институциональное поведение и т.д., могут изучаться отдельно;

2) в то время как поведение индивидов в социальном жизненном мире предсказуемо лишь в бессодержательных предвосхищениях, рациональное поведение сконструированного персонального типа предсказуемо по определению в пределах элементов, типизированных в конструкте. Следовательно, модель рационального действия может быть использована как средство определения девиантного (отклоняющегося) поведения в реальном социальном мире и по отношению к данным, выходящим за рамки рассматриваемой проблемы, т.е. к нетипизированным элементам;

3) вариации отдельных элементов нескольких моделей или даже наборов моделей рациональных действий могут быть использованы для решения той же самой научной проблемы и последующего сравнения друг с другом.

Последний пункт, однако, нуждается в некотором пояснении. Разве ранее мы не говорили, что все конструкты относятся к определенной рассматриваемой проблеме и должны быть пересмотрены в случае сдвига проблемы? Нет ли определенно-

го противоречия между сказанным ранее и возможностью создавать различные конкурирующие модели для решения одной и той же проблемы?

Противоречие исчезает, если мы примем во внимание, что любая проблема является лишь «местом встречи» (локусом) тех подразумеваемых смыслов, которые могут быть либо сформулированы явно, либо, используя термин Э. Гуссерля<sup>53</sup>, содержать внутренний горизонт непроблематизированных, но проблематизируемых элементов\*.

Для того чтобы прояснить внутренний горизонт проблемы, мы можем варьировать условия, при которых действует воображаемое действующее лицо, элементы мира, о которых он может знать, предполагаемую взаимосвязь мотивов, степень их близости и анонимности и т.д. Например, как экономист, работающий в рамках теории олигополии<sup>54</sup>, я могу конструировать модель отдельной фирмы, промышленности или экономической системы в целом. Если ограничиться теорией индивидуальной фирмы, я могу сконструировать одну модель производителя, действующего в нерегулируемой конкуренции, другую — в условиях навязанных ему ограничений, когда он осведомлен о сходных ограничениях других производителей тех же товаров. А затем мы можем сравнить результаты «одной и той же» фирмы в этих двух моделях.

Все рассмотренные модели являются моделями рациональных действий, а не действий, выполняемых людьми в созданных ими же ситуациях. Они исполняются персональными идеальными типами, созданными экономистом и помещенными им в искусственную среду.

## VI. Заключительные замечания

Отношения между социальным ученым и созданными им марионетками в известной мере отражают застарелую теологическую и метафизическую проблему взаимоотношения между Богом и его творением. Марионетка существует и действует лишь с разрешения ученого; она не может действовать иначе, как в соответствии с целями, определенными научным разу-

\* См., к примеру: *Concept and Theory Formation in the Social Sciences*. Русск. пер.: «Формирование понятия и теории в социальных науках» (пер. Н.М. Смирновой), ч. I наст. изд.

мом. Тем не менее, предполагается, что она действует самостоятельно, управляя собой. Между сознанием, которым наделена марионетка, и сконструированной ситуацией, в которой она, как предполагается, действует свободно, осуществляя рациональный выбор и принимая решения, существует предустановленная гармония. Такая гармония возможна лишь потому, что как марионетка, так и ее окружение созданы ученым. И руководствуясь собственными принципами, ученый, несомненно, достигает успеха, открывая в сотворенном им мире им же установленную абсолютную гармонию.

## Примечания

- <sup>1</sup> *Whitehead A.N.* The Organization of Thought. London, 1917, частично переизданной в книге «The Aims Education», 1929, а также в «Mentor-Book», Нью-Йорк, 1949. Цитируется по этому изданию. Первая цитата — P. 110.
- <sup>2</sup> *Ibid.* Chapter 9, «The Anatomy of Some Scientific Ideals, I Fact, II Objects».
- <sup>3</sup> *Ibid.* P. 128 и далее, 131.
- <sup>4</sup> *Ibid.* P. 131 и 136.
- <sup>5</sup> *Ibid.* P. 133.
- <sup>6</sup> *Ibid.* P. 134.
- <sup>7</sup> *Ibid.* P. 135.
- <sup>8</sup> *Whitehead A.N.* Science in the Modern World. N.Y., 1925, переизданная «Mentor-Book», New-York, 1948. P. 52 и далее.
- <sup>9</sup> The Aims of Education. P. 126.
- <sup>10</sup> *Ibid.* P. 135.
- <sup>11</sup> *Ibid.* P. 136.
- <sup>12</sup> *Ibid.* P. 112–123, 136–155.
- <sup>13</sup> *James W.* Principles of Psychology. Vol. I, chapter IX, «The Stream of Thought». P. 224 и далее; особ. p. 289 и далее.
- <sup>14</sup> *Dewey J.* Logic, The Theory of Inquiry, N.Y., 1938, особ. Chs. III, IV, VII, VIII, XII; См. также: The Objectivism-Subjectivism of Modern Philosophy (1941) в подборке: Problems of Men. N.Y., 1946. P. 316 и далее.
- <sup>15</sup> *Bergson H.* Matière et memoire. Ch. I: «La selection des Images par la Representation».
- <sup>16</sup> См., к примеру: *Husserl E.*, Logische Untersuchungen. II Bd., «Die Ideale Einheit der Species und die neuen Abstraktions Theorien»; прекрасно представленной Марвином Фабером: *Faber M.* The Foundation of Phenomenology. Cambridge, 1943, Ch. IX, особенно p. 251 и далее; *Husserl E.* Ideen zu einer Phänomenologie, англ. перевод Б. Гибсона: *Gibson B.* London 1931, First Section; Formale und Transzendentale Logik. Halle, 1929, Secs. 82–86, 94–96 (ср. с прив. выше работой М. Фабера, p. 501 и далее); Erfahrung und Urteil. Prague, 1936. Secs. 6–10, 16–24, 41–43 и др.
- <sup>17</sup> О понятии процедурных правил см.: *Kaufmann F.* Methodology of the Social Sciences. N.Y., 1944, особ. гл. III и IV; о различных взглядах на взаимоотношение естественных и социальных наук — Там же. Гл. X.
- <sup>18</sup> Что касается точного определения этого термина, то оно будет дано в разделе «О множественных реальностях». (Примечание: цитаты, приведенные

без уточняющих данных об источнике, как в данном случае, относятся к настоящему изданию.)

<sup>19</sup> *Husserl E.* Erfahrung und Urteil. Secs. 18–21, 82–85.

<sup>20</sup> Об этом см. литературу предыдущей сноски.

<sup>21</sup> Что касается термина «определение ситуации», см. различные статьи У. Томаса (W.I. Thomas) на эту тему, собранные в издании «Social Behavior and Personality. Contribution of W.I. Thomas to Theory of Social Research», ed. E. Volkart, N.Y., 1951. См. также указатель и ценное предисловие издателя.

<sup>22</sup> См.: *Merleau-Ponty M.* Phenomenologie de la perception. Paris, 1945. P. 158.

<sup>23</sup> *Sumner W.G.* Folkways. A Study of the Sociological Importance of Manners, Customs, Mores and Morals. N.Y., 1906.

<sup>24</sup> *Weber M.* The Theory of Social and Economic Organization / Transl. by A. Henderson and T. Parsons. N.Y., 1947. P. 115 и далее; см. также *Parsons T.* The Structure of Social Action. N.Y., 1937. Ch. XVI.

<sup>25</sup> *Lynd R.* Middletown in Transition. N.Y., 1937. Ch. XII, см. также: Knowledge of what? Princeton, 1939. P. 38–63.

<sup>26</sup> *Sheler M.* Die Wissenformen und die Gesellschaft, Probleme eine Sociologie des Wissens. Leipzig, 1926. P. 58 и далее. Ср.: *Becker H., Dahlke H.* Max Sheler's Sociology of Knowledge // Philosophy and Phenomenological Research. Vol. II, 1924. P. 310–322, особ. 315.

<sup>27</sup> *James W.* Op. cit. Vol. I. P. 221 и далее.

<sup>28</sup> *Schutz A.* The Well-Informed Citizen. An Essay on the Social Distribution of Knowledge // Social Research. Vol. 13. 1946. P. 463–472. Русский перевод: Хорошо информированный гражданин. Очерк о социальном распределении знания (пер. В.Г. Николаева). Часть 5 наст. изд.

<sup>29</sup> За исключением некоторых экономистов (напр., Ф. Хайека; см. его статью: Economics and Knowledge // *Economica*. February, 1937, впоследствии перепечатанную в кн.: Individualism and Economic Order. Chicago, 1948), проблема социального распределения знания не привлекла внимания социальных ученых в той мере, в какой этого заслуживает. Она открывает новое пространство для теоретических и эмпирических исследований, воистину заслуживающее названия социологии знания, — термин, сегодня используемый для не вполне определенной дисциплины, которая основывается на социальном распределении знания, не усматривая в этом теоретической проблемы. Можно надеяться, что систематические исследования в этой области внесут значительный вклад в решение многих проблем социальных наук, связанных с понятиями социальной роли, социальной стратификации, институционализованного и организованного поведения, в социологию занятости и профессий, престижа, статуса и т.д.

<sup>30</sup> *Schutz A.* Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Vienna, 1932. 2<sup>nd</sup> edition, 1960. Русск. пер.: Смысловое строение социального мира (пер. С.В. Ромашко), см. ч. VI наст. издания. См. также: *Stonier A., Bode K.* A New Approach to the Methodology of Social Sciences // *Economica*. Vol. V. November 1937. P. 406–424, особ. 416 и далее.

<sup>31</sup> *Cooley Ch.* Social Organization. N.Y., 1909. Chs. III–V; *Schutz A.* The Homecoming // *American Journal of Sociology*. Vol. 50, 1945. Русск. пер. см.: *Смирнова Н.М.* А. Шюц. Возвращающийся домой // Социологические исследования. 1995. № 2.

<sup>32</sup> См. сноску 29.

<sup>33</sup> *Simmel G.* Note on the Problem: How is Society Possible? / Transl. by A. Small // *The American Journal of Sociology*. Vol. XVI, 1910. P. 372–391; см также: *Wolff K.*

The Sociology of Georg Simmel. Glencoe, 1950. См. также указатель к разделу «Individual and Group».

<sup>34</sup> Прекрасное изложение взглядов Дюркгейма см.: *Gurvitch G.* La Vocation Actuelle de la Sociologie. Paris, 1950. Ch. VI. P. 351–409; см. также: *Parsons T.* The Structure of Social Action. Ch. X; *Benoit-Smullian E.* The Sociologism of Emile Durkheim and his School // *Barnes H.* Introduction to the History of Sociology. Chicago, 1948. P. 499–537. *Merton R.* Social Theory and Social Structure. Glencoe, III, 1949. Ch. IV. P. 125–150.

<sup>35</sup> *Cooley Ch.* Human Nature and the Social Order. Rev. ed. N.Y., 1922. P. 184. Русск. пер.: Человеческая природа и социальный порядок (пер. с англ. О.А. Зотова и Н.М. Смирновой). 2-е изд. М., 2001.

<sup>36</sup> *Mead G.* Mind, Self and Society. Chicago, 1934. P. 152–163.

<sup>37</sup> *James W.* Op. cit. Vol I. Ch. X.

<sup>38</sup> *Mead G.H.* Op. cit. P. 173–175, 196–198, 203; The Genesis of the Self, reprinted in: Philosophy of the Present. Chicago, 1932. P. 176–195; What Social Objects Must Psychology Presuppose? // *Journal of Philosophy*. Vol X, 1913. P. 374–380.

<sup>39</sup> *Husserl E.* Formale und transcendentale Logik. Halle, 1929. Sec. 74. S. 167. Erfahrung und Urteil. Sec. 24, Sec. 51 b.

<sup>40</sup> Лингвистически «мотивы-потому-что» могут быть выражены в современных языках также и с помощью пояснительных придаточных предложений. Подлинные «мотивы-потому-что», однако, не могут быть выражены придаточными предложениями цели. Это различие между двумя возможностями лингвистического выражения, относящееся к «мотиву-для», само по себе важно в других контекстах, в данном не рассматривается, и термин «мотив-потому-что» или «пояснительное придаточное предложение» используется исключительно для выражения подлинных «мотивов-потому-что».

<sup>41</sup> См. сноску 29.

<sup>42</sup> *Weber M.* Op. cit. P. 90, особ. 88: «Понятие действия включает в себя все человеческое поведение тогда и в той мере, в какой действующий индивид придает ему субъективный смысл... Действие является социальным в той мере, в какой с помощью приданного ему действующим индивидом (или индивидами) субъективного смысла оно принимает во внимание поведение других и таким образом оказывается ориентированным на него». См.: *Parsons T.* Op. cit., особ. p. 82 и далее, 345–347, 484 и далее; *Kaufmann F.* Op. cit. P. 56 и далее.

<sup>43</sup> На этом постулате Лейбница, очевидно, основано понятие рациональности, используемое большинством тех, кто исследует эту тему. Парето, различающий логические и не-логические действия, требует, чтобы первые логически связывали цели со средствами не только с точки зрения того, кто выполняет действие, но и с точки зрения других людей, имеющих более обширные знания, т.е. ученых (*Pareto V.* Trattato de Sociologia Generale. Англ. перевод под названием: *Livingston A.* (ed.) The Mind and Society. N.Y., 1935 and 1942. Объективная и субъективная цели должны быть идентичны. Проф. Т. Парсонс (The Structure of Social Action. P. 58) развивает сходную теорию. Парето, однако, допускает, что с субъективной точки зрения почти все человеческие действия принадлежат к классу логических. Проф. Г. Беккер (Through Values to Social Interpretation. Durham, 1950. P. 23–27) придерживается мнения, что действие может быть названо рациональным, если оно целиком сосредоточено на средствах, которые действующий считает адекватными для достижения отчетливо видимых целей.

<sup>44</sup> *Weber M.* Op. cit. P. 117. Характеристика рационального действия следует веберовскому определению одного из двух различаемых им типов рационально-

го действия (Op. cit. P. 115), а именно так называемого *целерационального действия* (в переводе Т. Парсонса «рациональной ориентации на систему дискретных целей»). Мы не рассматриваем здесь второй тип веберовского рационального действия — *ценностно-рациональное действие* («рациональную ориентацию на абсолютную ценность»), так как различие между ними в принятой нами терминологии может быть сведено к различию между двумя типами «мотивов по-тому-что», ведущих к формированию проекта действия как такового. Целерациональность подразумевает, что в системе иерархически выстроенных проектов, которые мы называем «планами», представленные к выбору различные способы осуществления действия должны быть рациональными. «Ценностно-рациональное действие» не может выбирать между различными проектами, равно представленными к выбору действующего в системе его планов. Проект воспринимается как сам собой разумеющийся, хотя есть открытые альтернативы того, как прийти к желаемому состоянию дел; и они должны быть определены в терминах рационального выбора. Т. Парсонс справедливо указывал, что почти невозможно найти подходящий английский эквивалент «целерациональному» (Zweckrational) и «ценностно-рациональному» (Wertrational), но его переводы уже означают изменение веберовской теории в одном существенном пункте: для целерациональности не существует системы предполагаемых дискретных целей, для ценностной рациональности не существует абсолютной ценности (Изложение собственных взглядов Парсонса см. во Введении к данному тому Вебера, р. 16 и далее).

Гораздо более важным, чем различие двух типов рационального действия, для нашей проблемы является различие между рациональными действиями обоих типов, с одной стороны, и традиционными и аффективными действиями — с другой. То же самое справедливо и в отношении модификации, предложенной Г. Беккером в отношении «четырех типов средств», используемых членами любого общества для достижения своих целей: 1) целесообразная рациональность; 2) санкционированная рациональность; 3) традиционная не-рациональность; 4) аффективная не-рациональность. В то время как Вебер и Парсонс включают цели в свои понятия рациональности, Беккер говорит о типах средств.

<sup>45</sup> *Schutz A. Choosing among the Projects of Action.* Русск. пер. В.Г. Николаева. Выбор между проектами действия. См. ч. I наст. изд.

<sup>46</sup> *Dewey J. Human Nature and Conduct.* Modern Library edition. P. 190.

<sup>47</sup> См. цитату из М. Вебера, приведенную в сноске 44.

<sup>48</sup> См.: *Husserl E. Erfahrung und Urteil.* Sec. 77. S. 370.

<sup>49</sup> Л. Мизес справедливо называет свой трактат по экономике человеческим действием. *Mises L. von. Human Action.* New Haven, 1949. См. также: *Hayek F. The Counter-Revolution of Science.* Glencoe, 1952. P. 25–36.

<sup>50</sup> Это понятие более подробно рассмотрено Ф. Кауфманом, op. cit., p. 84 и далее и 213 и далее, о понятии «научная ситуация», см. p. 53 и 251.

<sup>51</sup> *Ibid.* P. 42, 232.

<sup>52</sup> *Schutz A. The Problem of Rationality in the Social World.* Русск. пер. В.Г. Николаева. Проблема рациональности в социальном мире. См. ч. I наст. изд.

<sup>53</sup> О понятии горизонта см.: *Kuhn H. The Phenomenological Concept of Horizon // Faber M. (ed.) Philosophical Essays in Memory of Edmund Husserl.* Cambridge, 1940. P. 106–124.

<sup>54</sup> Я очень признателен проф. Мэчлапу за разрешение использовать этот пример из его книги *Machlup F. The Economics of Seller's Competition Model Analysis of Seller's Conduct.* Baltimore, 1952. P. 4 и далее.

## Формирование понятия и теории в социальных науках\*

Это название восходит к симпозиуму, состоявшемуся в декабре 1952 г. на ежегодной встрече Американской философской ассоциации<sup>1</sup>. Большой вклад в ее работу внесли Э. Нагель и К. Гемпель, стимулировав обсуждение этой проблемы, сформулированной столь ясно и отчетливо, как вообще свойственно этим ученым. Ее темой стало противоречие, которое более чем на полвека раскололо не только логиков и методологов, но также и социальных ученых на два лагеря. Одни из них придерживались точки зрения, согласно которой одни лишь методы естественных наук, приведшие к столь блистательным результатам, являются научными, и что лишь они во всей их полноте должны использоваться для изучения человеческих дел. Отказ от их использования, как утверждалось, не позволил социальным наукам развить объяснительные теории, по точности сравнимые с естественно-научными, и породил споры по эмпирическим основаниям небольшого числа наук, отвечавших этим требованиям, например экономики.

Представители другой школы видели фундаментальное различие в структуре социального и природного миров. Это ощущение привело к другой крайности, а именно к заключению, что социальные науки всецело отличны от естественных. В поддержку этой точки зрения приводилось множество аргументов. Утверждалось, что социальные науки являются идиографическими, им свойственны индивидуализирующая концептуализация и поиск единичных утвердительных суждений,

\* Concept and Theory Formation in the Social Sciences // *Schutz A. Collected Papers.* Vol. 1. Nijhoff, The Hague, 1962. P. 48–66. Доклад впервые представлен на 33-й конференции, проводящейся каждые полгода, по философским и научным методам в Нью-Йорке 3 мая 1953 г. *Пер. Н.М. Смирновой.*



в то время как естественные науки являются номотетическими, для которых характерны обобщающая концептуализация и поиск всеобщих достоверных суждений. Они имеют дело с постоянными отношениями, величина которых может быть измерена, могут проводить эксперименты, в то время как ни измерение, ни эксперимент не практикуются в социальных науках. Словом, сторонники этой школы утверждают, что естественные науки должны иметь дело с материальными объектами и процессами, социальные же науки — с психологическими и интеллектуальными и что, следовательно, методом первых является объяснение, вторых — понимание.

Конечно, большая часть этих обобщающих утверждений при ближайшем рассмотрении оказывалась несостоятельной по нескольким причинам. Некоторые сторонники приведенных аргументов имеют весьма ошибочное представление о методах естественных наук. Другие склонны распространять методологическую ситуацию, сложившуюся в одной социальной науке, на методы социальных наук вообще. А поскольку история имеет дело с единичными и неповторяющимися событиями, утверждалось, что содержание всех социальных наук ограничено единичными асерторическими утверждениями. То, что эксперимент едва ли возможен в культурной антропологии, заставляло пренебрегать тем фактом, что социальные психологи могут успешно использовать лабораторные эксперименты, во всяком случае, в определенной степени. Наконец, и это самое важное, подобные аргументы упускают из виду тот факт, что набор правил научной процедуры имеет равную достоверность для всех эмпирических наук, изучают ли они объекты природы или деяния людей. И в естественных, и в социальных науках преобладают принципы вывода и обоснования, а также теоретические идеалы единства, простоты, универсальности и точности.

Подобное неудовлетворительное состояние дел происходит главным образом из-за того, что развитие современных социальных наук долгое время осуществлялось в условиях, когда наука логики занималась в основном логикой естественных наук. Их методы часто провозглашались единственно научными, на манер монополистического империализма, а специфические проблемы, с которыми сталкивались социальные ученые в своей работе, не принимались во внимание. Оставленные без помощи и руководства в своем восстании против этого догматизма, социальные ученые вынуждены были развивать свои

собственные концепции, которые, как им казалось, должны были стать методологией социальных наук. Они делали это, не располагая достаточными познаниями в философии, и оставили свои попытки, когда достигли уровня обобщений, который, как им казалось, отвечал их глубокому убеждению в том, что цель их исследований не может быть достигнута методами естественных наук без их надлежащих изменений или приспособлений. Неважно, что их аргументы часто несостоятельны, их формулировки — неудовлетворительны, а недоразумения затемняют их споры. Нас будет главным образом интересовать не то, что *сказали* социальные ученые, а то, что они *имели в виду*.

Работы «позднего» Ф. Кауфмана<sup>2</sup> и недавний вклад Нагеля<sup>3</sup> и Гемпеля<sup>4</sup> подвергли критике многие ошибочные аргументы, выдвинутые социальными учеными, и подготовили фундамент иного подхода к проблеме. Я сосредоточил внимание на критике проф. Нагелем утверждения М. Вебера и его школы, что социальные науки стремятся «понять» социальные явления в терминах «значащих» категорий человеческого опыта и что, следовательно, «причинно-функциональный» подход естественных наук неприложим к исследованию социальной реальности. Эта школа, как представляется проф. Нагелю, придерживается той точки зрения, что все социально значимое человеческое поведение является выражением мотивированных психических состояний и что в конечном счете социальный ученый не может быть удовлетворен рассмотрением социальных процессов как взаимосвязи «внешних» событий, а установление соответствий или даже универсальных отношений взаимосвязи не может быть их конечной целью. Напротив, он должен конструировать «идеальные типы» или «модели мотиваций», в терминах которых он пытается «понять» публичное социальное поведение, приписывая мотивы действия участвующим в нем действующим лицам. Если я правильно понимаю критику проф. Нагеля, он придерживается точки зрения, что:

1) эти мотивы действия не доступны чувственному наблюдению. Из этого следует, как часто утверждается, что социальный ученый должен умозрительно отождествить себя с участниками и смотреть на ситуацию их глазами. Конечно, мы, однако, не должны переживать психический опыт других людей, для того чтобы предсказать их публичное поведение;

2) приписывание эмоций, установок и целей в процессе исследования публичного поведения является двойной гипотезой: она предполагает, что участники некоторых социальных

явлений находятся в определенном психическом состоянии; она также предполагает определенные взаимоотношения между такими состояниями, а также между ними и публичным поведением. Но ни одно из воображаемых нами психических состояний, которым мог бы обладать изучаемый субъект, не может в реальности быть им присуще, и даже если наше приписывание корректно, ни одно из воспринимаемых действий, вытекающих из этих состояний, не может показаться нам доступным пониманию или разумным;

3) мы не «понимаем» природы и действия человеческих мотивов и их проявлений в публичном поведении более адекватно, чем «внешние» причинно-обусловленные отношения. Если в смысловом объяснении мы лишь утверждаем, что отдельное действие является примером образца поведения во множестве различных обстоятельств и что человек может проявлять этот образец лишь в определенной форме, то не существует резкой границы между такими объяснениями и теми, что основаны на «внешнем» знании причинных зависимостей. Мы можем обрести знание о действиях людей на основе их публичного поведения аналогично тому, как мы открываем атомную структуру воды на основе физического и химического поведения этого вещества. Так что отвержение чисто «объективной» или «бихевиористской» социальной науки сторонниками «смыслового подхода» не оправдано.

Поскольку я вынужден не согласиться с утверждениями Нагеля и Гемпеля по нескольким вопросам фундаментального характера, я позволю себе начать с краткого подведения итогов по менее важным вопросам, в отношении которых я имею счастье достичь с ними полного согласия. Я согласен с проф. Нагелем, что все эмпирическое знание включает в себя мыслительные процессы правильного вывода и должно быть выражено в форме высказываний, быть проверяемо любым, кто готов и в состоянии это сделать путем наблюдения<sup>5</sup>, — однако, в отличие от проф. Нагеля, я не нахожу, что это наблюдение должно быть чувственным в собственном смысле слова. Более того, я согласен с ним в том, что термин «теория» во всех эмпирических науках означает ясную и четкую формулировку определенных отношений между набором переменных, с помощью которых может быть объяснен класс эмпирически достоверных регулярностей<sup>6</sup>. Далее, я всем сердцем согласен с утверждением, что ни то, что эти регулярности имеют весьма ограниченное применение в общественных науках, ни то, что они позво-

ляют предсказывать лишь в очень ограниченных пределах, не составляет основного различия между социальными и естественными науками, поскольку многим отраслям последних присущи те же черты<sup>7</sup>. Как я постараюсь показать далее, мне кажется, что проф. Нагель не понимает веберовского постулата субъективной интерпретации. Тем не менее, он прав, утверждая, что метод, необходимый ученому для того, чтобы отождествить себя с наблюдаемым агентом социального действия и понять его мотивы, или метод, необходимый для отбора наблюдаемых фактов и их интерпретации в личной системе ценностей определенного наблюдателя, приводит к неконтролируемым личным и субъективным образам в голове отдельного ученого, но не к научной теории<sup>8</sup>. Но я не знаю ни одного социального ученого, который разделял бы понятие субъективности, раскритикованное проф. Нагелем. Можно с абсолютной точностью утверждать, что оно не имеет отношения к М. Веберу.

Я также думаю, что наши авторы не приемлют базисной философской точки зрения сенсуалистического эмпиризма или логического позитивизма, отождествляющих опыт с чувственным наблюдением и утверждающих, что только альтернативное контролируемому и, следовательно, объективному чувственное наблюдение является субъективным, следовательно, неконтролируемой и непроверяемой интроспекцией. Здесь, разумеется, не место возобновлять старый философский спор относительно скрытых предпосылок и подразумеваемых метафизических допущений этой философии. Но чтобы проиллюстрировать собственную позицию, я должен был бы привести обширное описание определенных феноменологических принципов. Вместо этого я приведу несколько простых высказываний.

1. Изначальная цель социальных наук состоит в достижении организованного знания социальной реальности. Под понятием «социальная реальность» я склонен понимать тотальную сумму объектов и событий в социокультурном мире в том виде, как они воспринимаются в опыте обывательского мышления людей, живущих повседневной жизнью среди других людей, связанных с ними множеством отношений и взаимодействий. Это мир культурных объектов и социальных институтов, в котором мы родились, несем свою ношу и с которым должны поладить. Мы, действующие и живущие в социальном мире, изначально воспринимаем его в опыте как мир природы и культуры, и не как свой собственный, но как интересубъективный, т.е. как общий всем нам мир, актуально и потенциально

доступный каждому; а это означает, что он включает в себя взаимную коммуникацию и язык.

2. Все формы натурализма и логического эмпиризма рассматривают социальную реальность как изначальную данность, как соответствующий объект социальных наук. Интерсубъективность, взаимодействие, взаимная коммуникация и язык не проблематизируются, выступая непроявленным основанием этих теорий. Они исходят из предположения, что социальный ученый якобы уже решил свои фундаментальные проблемы еще до того, как приступил к научному исследованию. Д. Дьюи с ясностью, достойной этого великого философа, подчеркивал, что любое исследование начинается и заканчивается в определенных социокультурных рамках; и проф. Нагель, безусловно, знал о том, что наука и способы ее проверки имеют социальную природу<sup>9</sup>. Но постулат описания и объяснения человеческого поведения в терминах проверяемого чувственного наблюдения не доходит до описания и объяснения процесса, в котором ученый Б контролирует и проверяет наблюдения и выводы ученого А. Чтобы осуществить это, Б должен знать, что наблюдает А, какова цель его исследования, почему он считает наблюдаемый факт заслуживающим наблюдения, т.е. значимым для решения данной проблемы. Такое знание принято называть пониманием. То, как именно возникает такое понимание, социальные ученые не объясняют. Но каким бы оно ни оказалось, ясно одно: подобное интерсубъективное понимание не возникает ни из наблюдения ученого Б за поведением ученого А, ни из интроспекции ученого Б, ни из самоотождествления ученого Б с А. Если подобное утверждение сформулировать на языке логического позитивизма, оно означает, как показал Ф. Кауфман<sup>10</sup>, что так называемые протокольные предложения о физическом мире имеют совершенно иную природу, чем протокольные предложения о психофизическом мире.

3. Отождествление опыта с чувственным наблюдением вообще и в особенности опыта с публичным действием (что предлагает Нагель) исключает некоторые измерения социальной реальности из любых возможных исследований:

а) даже идеально рафинированный бихевиоризм может, как показано, к примеру, Дж. Мидом<sup>11</sup>, объяснить поведение лишь наблюдаемого, но не наблюдающего бихевиориста;

б) такое же публичное поведение (например, пышная племенная церемония, схваченная видеокамерой) может иметь совершенно иное значение для ее участников. Социального же ученого

интересует лишь то, является ли она танцем, обменом товарами, приемом дружественного посла или еще чем-то в этом же роде;

в) более того, понятие социального действия в терминах обыденного знания и в социальных науках включает в себя то, что можно было бы назвать «негативными действиями», т.е. сознательное воздержание от действия<sup>12</sup>, которое, конечно же, не поддается чувственному наблюдению. Непродажа определенных товаров по установленной цене, без сомнения, — такое же экономическое действие, как и их продажа;

г) более того, как показал У. Томас<sup>13</sup>, социальная реальность содержит верования и убеждения, которые, будучи определены самими участниками, вполне реальны, но не поддаются чувственному наблюдению. Для обитателей Салема XVII в. колдовство было не самообманом, а элементом их социальной реальности и в качестве такового доступно наблюдению социального ученого;

д) наконец, — и это самое важное — постулат чувственного наблюдения публичного человеческого поведения берет в качестве модели специфический и относительно небольшой сектор социального мира, а именно ситуации, в которых действующий дан наблюдателю в так называемых отношениях лицом-к-лицу. Но существует множество других измерений социального мира, в которых подобные ситуации отнюдь не преобладают. Опуская письмо в почтовый ящик, мы предполагаем, что анонимный Другой, называемый почтальоном, исполнит серию действий, нам не известных и нами не наблюдаемых, которые приведут к тому, что адресат, возможно, тоже нам не известный, получит наше сообщение и отреагирует на него способом, который тоже нами не наблюдаем; в результате мы получим по почте книгу, которую заказывали. Или если я читаю в газетной передовице, что Франция опасается перевооружения Германии, я хорошо знаю, что это означает, не будучи знаком не только с авторами статьи, но даже и с французом или немцем, т.е. без всякого наблюдения за их публичным поведением.

С помощью обыденного мышления повседневной жизни люди обретают знание об этих измерениях того социального мира, в котором они живут. Но этому знанию, уточним, присущ не только фрагментарный характер, поскольку оно ограничено сравнительно небольшим сектором социального мира, оно зачастую и непоследовательно, и ему свойственны различные степени ясности и отчетливости: от всестороннего «знания-о», как назвал его У. Джемс<sup>14</sup>, через «знание-знакомство», или про-

стую осведомленность, к слепым верованиям, принимаемым в качестве само собой разумеющихся. И в этом отношении существуют значительные различия одного индивида от другого и одной социальной группы от другой. Но, несмотря на его неадекватность, обыденное знание повседневной жизни достаточно для того, чтобы поладить с другими людьми, культурными объектами и социальными институтами, — короче, с социальной реальностью. Потому что мир (как природный, так и социальный) изначально интерсубъективен и, как мы покажем в дальнейшем, наше знание о нем множеством способов социализировано. Более того, социальный мир дан в опыте как изначально осмысленный. Другой воспринимается в опыте не как организм, а как человек, его публичное поведение является не чем-то вроде явления природы, но человеческим действием. Обычно мы знаем, что делает Другой, для чего он это делает и почему он делает это в данное время и при данных обстоятельствах. Это означает, что мы воспринимаем в опыте действия другого человека посредством его мотивов и целей. Аналогично этому, мы воспринимаем в опыте культурные объекты с помощью человеческих действий, в которых они создаются. К примеру, инструмент воспринимается в опыте не как вещь во внешнем мире (чем он, без сомнения, тоже является), а с точки зрения цели, для которой он создан более или менее анонимными людьми, и его возможного использования другими.

То, что в обыденном мышлении мы рассматриваем как само собой разумеющееся — актуальные или потенциальные значения человеческих действий и их результатов, — является именно тем, что хотят выразить социальные ученые, когда говорят о понимании, или *Verstehen*, как технике изучения человеческих дел. Таким образом, *Verstehen* изначально является не методом социальных наук, а особой формой опыта, посредством которой обыденное мышление познает социально-культурный мир. Она не имеет ничего общего с интроспекцией; это продукт процессов сбора или изучения, аналогичных повседневному опыту восприятия мира природы. Более того, *Verstehen* (понимание) не является частным делом наблюдателя, не подлежащим проверке в опыте других наблюдателей. Представим себе дискуссию в зале суда присяжных о том, действительно ли подсудимый проявил «обдуманное преступное намерение», или «умысел», убить человека, способен ли он был оценить последствия своего деяния и т.д. В нашем распоряжении лишь «правила процедуры», укорененные в «правилах оче-

видности» в юридическом смысле, и способы подтверждения полученных данных, исходящие из процессов их понимания апелляционным судом. Более того, предсказания, основанные на *Verstehen*, с большим успехом делаются и в обыденном мышлении. То, что должным образом маркированное и адресованное письмо, опущенное в почтовый ящик в Нью-Йорке, достигнет Чикаго, — нечто большее, чем просто шанс.

Тем не менее, как защитники, так и критики *Verstehen* вполне обоснованно сходятся в том, что *Verstehen* «субъективно». К несчастью, однако, этот термин используется обеими сторонами в различных смыслах. Критики понимания называют его субъективным, поскольку полагают, что понимание мотивов чужого действия основано на частной, непроверяемой и неподтверждаемой интуиции наблюдателя или относится к его личной системе ценностей. Такие же ученые, как Макс Вебер, однако, называют *Verstehen* субъективным потому, что его цель состоит в том, чтобы обнаружить, что «имеет в виду» действующий под своим действием, в отличие от того значения, которое придает его действию коммуникативный партнер или невовлеченный наблюдатель. Таково происхождение знаменитого веберовского постулата субъективной интерпретации, о котором мы будем много говорить в дальнейшем. В целом же этой дискуссии недостает четкого различия между *Verstehen* 1) как опытной формой обыденного знания человеческих дел; 2) как эпистемологической проблемы; 3) как специфического метода социальных наук.

До сих пор мы сосредоточивали внимание на *Verstehen* как на способе возникновения обыденного мышления в социальном мире и прилаживания к нему. Что касается эпистемологического вопроса «Как такое понимание, или *Verstehen*, возможно?», сошлемся на высказывание Канта, сделанное в другом контексте. Я считаю «скандалом в философии» то, что удовлетворительного решения проблемы чужих сознаний и связанной с ним проблемы интерсубъективности нашего опыта, как природного, так и социального мира, до сих пор не найдено и что до самого последнего времени эта проблема вообще ускользала от внимания философов. Но решение этой наиболее сложной проблемы философской интерпретации является первым из того, что обыденным мышлением воспринимается как данность и практически решается без всяких трудностей в любом повседневном действии. А поскольку человеческие существа рождены матерями, а не состряпаны в пробирках, опыт

существования других людей и значение их действий являются, без сомнения, первым и наиболее достоверным эмпирическим наблюдением, сделанным человеком.

С другой стороны, столь разные философы, как Джемс, Бергсон, Дьюи, Гуссерль и Уайтхед солидарны в том, что обыденное знание повседневной жизни является непроблематизированным, но всегда проблематизируемым основанием, на котором единственно основывается и проводится исследование. Таким фундаментом является *жизненный мир (Lebenswelt)*, как назвал его Э. Гуссерль, в рамках которого, как он полагал, возникают все научные и даже логические понятия; это социальная матрица, в которой, согласно Д. Дьюи, возникают непроясненные ситуации, которые в процессе исследования должны быть переделаны в оправданные утверждения; и Уайтхед указал, что целью науки является создание теории, согласующейся с опытом, объяснение конструктов здравого смысла с помощью идеальных объектов науки<sup>15</sup>.

Все эти мыслители солидарны в том, что любое знание о мире, как обыденное, так и научное, включает ментальные конструкты, синтез, обобщения, формализации, идеализации, характерные для определенного уровня организации мышления. Э. Гуссерль показал, что понятие Природы, например, с которым имеют дело представители естественных наук, является идеализированной абстракцией *Lebenswelt* (жизненного мира. — *Н.С.*) — абстракцией, которая в принципе и, конечно же, вполне законно исключала людей и их жизни, а также восходящие к человеческой деятельности объекты культуры. Однако именно этот слой *Lebenswelt*, от которого должны были абстрагироваться представители естественных наук, является социальной реальностью, которую должны исследовать социальные ученые.

Эти рассуждения проливают свет на некоторые методологические проблемы социальных наук. Оказывается, утверждение о том, что строгое принятие принципов формирования понятий и теорий, свойственных естественным наукам, ведет к достоверному знанию социальной реальности, непоследовательно. Если теория и может быть построена на этих принципах, например, в форме идеально рафинированного бихевиоризма, что вполне можно себе представить, то она ничего не скажет нам о социальной реальности, воспринимаемой людьми в опыте повседневной жизни. Сам проф. Нагель допускает<sup>16</sup>, что она будет в высшей степени абстрактной, и ее понятия будут, по-види-

мому, далеки от очевидных и знакомых черт, которые можно обнаружить в любом обществе. С другой стороны, теория, нацеленная на объяснение социальной реальности, должна развивать особые методологические средства, отличные от естественнонаучных, для того, чтобы достичь согласия с обыденным опытом социального мира. Это, конечно же, то, что уже сделали все занимающиеся человеческими проблемами теоретические науки — экономика, социология, юридические науки, лингвистика, культурная антропология и т.д.

В основе этого лежит существенное различие в структуре идеальных объектов или ментальных конструктов, созданных социальными учеными и представителями естественных наук<sup>17</sup>. Последние, т.е. представители естествознания, сами вольны определять — в соответствии с процедурными правилами своей науки — поле наблюдения, факты, данные или события, относящиеся к поставленной ими проблеме или ближайшей цели. Ни факты, ни события заранее не отобраны, а исследовательское поле не является предварительно интерпретированным. Мир природы, изучаемый социальным ученым, ничего «не значит» ни для молекул, ни для атомов, ни для электронов. Но поле наблюдения социального ученого — социальная реальность — имеет специфическое значение и структуру релевантности для человеческих существ, в нем живущих, действующих и думающих. С помощью набора конструктов обыденного знания они расчленили и по-своему интерпретировали этот мир, данный им в опыте как реальность их повседневной жизни. Именно их мыслительные объекты определяют их поведение путем мотивации. Мыслительные же конструкты социального ученого, чтобы постичь эту социальную реальность, должны быть основаны на объектах мышления, сформированных в рамках обыденного сознания людей, живущих повседневной жизнью в социальном мире. Таким образом, конструкты социальных наук являются, так сказать, конструктами второго порядка, т.е. конструктами конструктов, созданных действующими людьми на социальной сцене, чье поведение социальный ученый должен наблюдать и объяснять в соответствии с процедурными правилами своей науки.

Таким образом, изучение всеобщих принципов, в соответствии с которыми человек в повседневной жизни организует свой опыт, и особенно опыт социального мира, является главной задачей методологии социальных наук. Здесь не место описывать процедуры феноменологического анализа так называемой ес-

тественной установки, с помощью которой это может быть сделано. Кратко упомянем лишь о нескольких проблемах.

Мир, как показал Э. Гуссерль, изначально воспринимается в донаучном мышлении повседневной жизни как типизированный. Неповторимые объекты и события, данные нам с уникальных сторон, являются неповторимыми в пределах горизонта типичного пред-ознакомления. Существуют горы, деревья, животные, собаки, в частности, ирландские сеттеры и среди них – мой ирландский сеттер Ровер. Я могу смотреть на Ровера как на уникального индивида, моего незаменимого друга и товарища, или как на типичного представителя «ирландского сеттера», «собаки», «млекопитающего», «животного», «организма» или объекта внешнего мира. Теперь можно показать, что делаю ли я первое или второе, а также то, какие черты или свойства данного объекта или события я считаю индивидуальными и уникальными, а какие – типичными, зависит от моего интереса и определяемой им системы релевантностей, – короче, от наличной практической или теоретической проблемы. Эта проблема, в свою очередь, возникает в обстоятельствах, в которых я нахожусь в данный момент моей повседневной жизни и которые я предлагаю назвать биографически детерминированной ситуацией. Таким образом, типизация зависит от моей наличной проблемы, для определения и решения которой и сформирован тип. Как будет показано далее, по меньшей мере, один аспект биографически и ситуационно определенной системы интересов и релевантностей дан в субъективном опыте повседневной жизни как системе мотивов действия, выбора, который надо сделать, проекта, который надо осуществить, цели, которой необходимо достичь. Это образ действующего в зависимости от мотивов и целей его действий в биографически предопределенной ситуации, которую социальный ученый имеет в виду, говоря о субъективном значении, которым действующий «наделяет» или с которым «связывает» свое действие. Это означает, что, строго говоря, лишь действующий, и только он, знает, что он делает, почему он это делает, а также где и когда его действие начинается и заканчивается.

Но мир повседневной жизни изначально является также и социокультурным миром, в котором я связан множеством отношений с другими людьми, более или менее мне знакомыми. В определенной мере, достаточной для многих практических целей, я понимаю их поведение, если я понимаю их мотивы, цели, предпочтения и планы, возникающие в их биографичес-

ки определенных обстоятельствах. Однако лишь в особых ситуациях и лишь фрагментарно я могу воспринимать в опыте мотивы и цели Другого, словом, субъективные значения, которыми они наделяют свои действия в их уникальности. Я могу, однако, воспринять их в их типичности. Для этого я конструирую типичные образцы мотивов, целей и даже установок и личностных характеристик действующего лица, проявлением и примерами которых служит его реальное поведение. Эти типизированные образцы поведения Другого, в свою очередь, становятся мотивами моих собственных действий, и это приводит к явлению самотипизации, хорошо знакомому социальным ученым под разными именами.

Здесь, в обыденном мышлении повседневной жизни, исток всех так называемых идеальных типов – понятие, которое как инструмент социальных наук столь отчетливо проанализировано проф. Нагелем. Но, по крайней мере на уровне обыденного мышления, формирование подобных типов не требует ни интуиции, ни теории, если понимать их в том смысле, который придают им рассуждения Гемпеля<sup>18</sup>. Как мы увидим далее, существуют и другие виды идеальных или конструктивных типов, созданных социальным ученым и имеющих иную структуру, связанную с теорией. Но Гемпель не проводил различий между ними.

Далее мы обратимся к рассмотрению того, что обыденное знание повседневной жизни изначально социализировано во многих отношениях.

Во-первых, оно структурно социализировано, поскольку основано на фундаментальной идеализации, что если я помнясь местами со своим партнером, то буду воспринимать в опыте тот же сектор мира в той же перспективе, что и он, а наши биографические обстоятельства становятся нерелевантными для наших наличных практических целей. Я предлагаю назвать такую идеализацию взаимностью перспектив<sup>19</sup>.

Во-вторых, оно генетически социализировано, поскольку большая часть наших знаний в отношении как его содержания, так и форм типизаций имеет социальное происхождение в социально одобренных терминах.

В-третьих, оно социализировано в смысле социального распределения знания, причем каждый индивид обладает знанием лишь сектора мира, и общее знание этого сектора индивидуально варьируется по степени ясности и отчетливости, мере освоенности или же выступает как вера.

Эти принципы социализации обыденного знания и особенно социальное распределение знаний объясняют, по меньшей мере частично, что имеет в виду социальный ученый, говоря о структурно-функциональном подходе к изучению человеческих дел. Понятие функционализма, — по крайней мере, в современных социальных науках — возникло не из биологического понятия функционирования организма, как полагал Хагел. Оно относится к социально распределенным конструктам образцов типичных мотивов, целей, установок, личностных черт, понимаемых как постоянные и интерпретируемые, как функции и структуры социальной системы как таковой. Чем более стандартизированы и институционализированы эти взаимосвязанные образцы поведения, т.е. чем более их типичность социально одобрена в законах, фольклоре, обычаях и привычках, тем они более полезны в обыденном и научном мышлении как схема интерпретации человеческого поведения.

Таков грубый набросок некоторых наиболее важных черт конструктов обыденного опыта интересующего мира повседневной жизни, называемого *Verstehen*. Как мы объясняли ранее, они являются конструктами первого порядка, на котором должны быть возведены конструкты второго порядка — социальные науки. Но здесь и возникает главная проблема. С одной стороны, как было показано, конструкты первого уровня, т.е. обыденного сознания, относятся к субъективным элементам, а именно к *Verstehen*, пониманию действия с точки зрения самого действующего. Соответственно, если социальные науки нацелены на объяснение социальной реальности, то научные конструкты второго уровня также должны содержать отсылку к субъективным значениям действия для самого действующего. Я думаю, что именно это М. Вебер понимал под знаменитым постулатом субъективной интерпретации, который рассматривается как способ построения теории во всех социальных науках. Постулат субъективной интерпретации следует понимать в том смысле, что все научные объяснения социального мира *могут*, а в некоторых случаях и *должны*, отсылать к субъективным значениям человеческих действий, из которых и возникает социальная реальность.

С другой стороны, я согласен с утверждением проф. Хагеля, что социальные науки, как и все эмпирические науки, должны быть объективны в том смысле, что их высказывания подлежат проверке и не должны ссылаться на непроверяемый опыт.

Но как возможно примирить эти, на первый взгляд, непримиримые принципы? В самом деле, самый серьезный вопрос, на который следует ответить методологии социальных наук, состоит в следующем: «Как возможны объективные понятия и объективная проверяемая теория о субъективных значащих структурах?» Исходная интуиция, что понятия, сформулированные социальным ученым, являются конструктами конструктов, созданных в повседневном мышлении действующими людьми на социальной сцене, является возможным ответом. Научные конструкты второго уровня, созданные в соответствии с процедурными правилами, справедливыми для всех эмпирических наук, являются объективными идеально-типизирующими конструктами и как таковые отличны от развитых на первом уровне обыденного мышления, который они замещают. Они являются теоретическими системами, воплощающими проверяемые всеобщие гипотезы в том смысле, как их определял проф. Гемпель<sup>20</sup>. Этот прием использовался социальными учеными-теоретиками задолго до того, как само понятие было сформулировано М. Вебером и развито его школой.

Прежде чем описать некоторые характеристики таких научных конструктов, кратко рассмотрим особую установку социального теоретика по отношению к социальному миру, в отличие от установок действующего на социальной сцене. Ученый теоретик — как ученый, а не как человеческое существо (каковым он, конечно же, тоже является) — не является частью наблюдаемой ситуации, она имеет для него не практический, а лишь познавательный интерес. Система релевантностей, управляющая повседневными интерпретациями в повседневной жизни, возникает в биографически детерминированной ситуации наблюдателя. Решив занять позицию ученого, социальный ученый замещает свою персональную биографическую ситуацию тем, что, по примеру Ф. Кауфмана<sup>21</sup>, я назову научной ситуацией. Проблема, которую он должен изучать, может вовсе не проблематизироваться человеком, живущим в мире, и наоборот. Любая научная проблема определена наличным состоянием соответствующей науки, и ее решение должно быть достигнуто в соответствии с ее процедурными правилами, которые, среди прочего, гарантируют воспроизводимость и подтверждаемость предложенного решения. Раз установленная, научная проблема, и только она, определяет систему релевантностей ученого, равно как и устанавливает концептуальные рамки ее решения. Ничего другого, как мне представляется, и не

имел в виду М. Вебер, постулировав объективность социальных наук, ее отличие от ценностных образцов, управляющих или могущих управлять поведением действующего лица на социальной сцене.

Как же работает социальный ученый? Он наблюдает определенные факты и события в социальной реальности, относящиеся к человеческому действию, и конструирует типичное поведение или образцы исполнения действия, которые он наблюдает. В соответствии с этими образцами исполнения действия он создает модель идеального типа действующего или действующих, воображая их наделенными сознанием. Однако содержание такого сознания ограничено лишь элементами, относящимися к образцу наблюдаемого типа исполнения действия. Таким образом, он приписывает этому вымышленному сознанию набор типичных понятий, задач и целей, которые считаются постоянными для этой воображаемой модели действующего. Предполагается, что такие гомункулы, или марионетки, вступают в образцы взаимодействия с другими гомункулами подобным же образом. Среди таких гомункулов, которыми социальный ученый населил свою модель социального мира повседневной жизни, — набор мотивов, целей и ролей, — словом, систем релевантностей, распределенных таким образом, как того требует изучаемая научная проблема. Однако — и это главное — эти конструкции не являются произвольными. Они подчинены постулату логической последовательности и постулату адекватности. Последний означает, что каждый термин в научной модели человеческого действия должен быть сформулирован таким образом, чтобы поведение индивидуального действующего лица в реальном мире, в соответствии с типичным конструктом поведения, было бы понятно как самому действующему, так и его партнеру, с помощью обыденных интерпретаций повседневной жизни. Соответствие с постулатом логической последовательности гарантирует объективную достоверность объектов мышления, созданных социальным ученым; соответствие же с постулатом адекватности гарантирует их совместимость с конструктами повседневной жизни<sup>22</sup>.

Далее, обстоятельства, в которых действует такая модель, могут варьироваться, т.е. можно вообразить себе изменение ситуаций, с которыми сталкиваются гомункулы, но приписываемый им набор мотивов и релевантностей остается неизменным. Я могу, к примеру, вообразить себе одну модель производителя, действующего в условиях нерегулируемой конкуренции,

другую — в условиях навязанных ему ограничений, а затем сравнить производственные результаты той же самой фирмы в двух различных моделях<sup>23</sup>. Таким образом мы можем предсказать, как такая марионетка или система марионеток может вести себя в определенных условиях, и обнаружить некоторые «детерминирующие отношения между набором переменных, с помощью которых... эмпирически фиксируемые повторяемости... можно объяснить». Таково, однако, определение теории, которого придерживается проф. Нагель<sup>24</sup>. Нетрудно видеть, что каждый шаг на пути создания и использования научных моделей может быть проверен эмпирическими наблюдениями, не ограниченными лишь чувственными восприятиями объектов и событий во внешнем мире, но включающими и опытную форму, посредством которой обыденное мышление повседневной жизни понимает человеческие действия и их результаты с помощью лежащих в их основании мотивов и целей.

Позволим себе два заключительных замечания. Первое: ключевым понятием философского натурализма является так называемый принцип непрерывности, хотя и не совсем ясно, означает ли он непрерывность опыта или анализа, или интеллектуальный критерий подобающего контроля за используемыми методами<sup>25</sup>. Мне кажется, что принцип непрерывности в каждой из этих различных интерпретаций содержит характерные приемы социальных наук, которые даже устанавливают непрерывность между практикой повседневной жизни и концептуализацией социальных наук.

Второе замечание относится к проблеме методологического единства эмпирических наук. Мне кажется, что социальный ученый может согласиться с тем, что принципиальное различие между социальными и естественными науками не следует усматривать в различных логиках, управляющих каждой из этих отраслей знания. Но это не означает, что социальные науки должны избегать использования особых приемов для исследования социальной реальности во имя идеала единства методов, основанного на абсолютно недостоверном допущении, что лишь методы естественных наук, и особенно физики, являются научными. Насколько я знаю, сторонники «единства науки» не сделали ни одной серьезной попытки ответить или даже поставить вопрос, не является ли методологическая проблема естественных наук в ее нынешнем состоянии лишь частным случаем более общей, еще не исследованной проблемы того, как вообще возможно научное знание, каковы его логические и



методологические предпосылки. Лично я убежден в том, что феноменологическая философия подготовила фундамент для такого исследования. Вполне возможно, что его результат покажет, что методологические приемы, развитые социальными науками для постижения социальной реальности, в большей мере, чем методы естественных наук, ведут к открытию всеобщих принципов, управляющих всем человеческим познанием.

## Примечания

- <sup>1</sup> Впервые опубликован в журнале «Science, Language and Human Rights» (American Philosophical Association, Eastern Division, Vol. 1), Philadelphia, 1952. P. 43–86. Далее SLH. Первый пер. на русск. яз. см: Американская социологическая мысль. М.: МГУ, 1994. С. 481–497.
- <sup>2</sup> В особенности *Kaufmann F. Methodology of the Social Sciences*. N.Y., 1941.
- <sup>3</sup> SLH. P. 43–64.
- <sup>4</sup> SLH. P. 65–86.
- <sup>5</sup> SLH. P. 56.
- <sup>6</sup> SLH. P. 46.
- <sup>7</sup> SLH. P. 60 и далее.
- <sup>8</sup> SLH. P. 55–57.
- <sup>9</sup> SLH. P. 53.
- <sup>10</sup> Op. cit. P. 126.
- <sup>11</sup> См.: *Mead J. Mind, Self and Society*. Chicago, 1937.
- <sup>12</sup> См. работу М. Вебера «The Theory of Social and Economic Organization». N.Y., 1947. P. 88.
- <sup>13</sup> См.: *Thomas W.I. Social Behavior and Personality* (ed. by E.H. Volkart). N.Y., 1951. P. 81.
- <sup>14</sup> *James W. Principles of Psychology*. Vol. 1. P. 221 и далее.
- <sup>15</sup> *Schutz A. Common-Sense and Scientific Interpretation of Human Action*. Русск. пер. Н.М. Смирновой. Обыденная и научная интерпретация человеческого действия. См. ч. I наст. изд.
- <sup>16</sup> SLH. P. 63.
- <sup>17</sup> Более подробно об этом см. раздел «Обыденная и научная интерпретация человеческого действия». Ч. I наст. изд.
- <sup>18</sup> SLH. P. 76 и далее, и 81.
- <sup>19</sup> См. раздел «Обыденная и научная интерпретация человеческого действия». Ч. I наст. изд.
- <sup>20</sup> SLH. P. 77 и далее.
- <sup>21</sup> *Kaufmann F.* Op. cit. P. 52 и 251.
- <sup>22</sup> См. раздел «Обыденная и научная интерпретация человеческого действия». Ч. I наст. изд.
- <sup>23</sup> См.: *Machlup F. The Economics of Seller's Competition: Model Analysis of Seller's Conduct*. Baltimore, 1952. P. 9 и далее.
- <sup>24</sup> SLH. P. 46.
- <sup>25</sup> См.: *Lavine Th. Note to Naturalists on the Human Spirit // Journal of Philosophy*. Vol. L. 1953. P. 145–154, а также ответ Э. Нагеля там же, p. 154–157.

# Проблема рациональности в социальном мире\*

## I

Проблема, которую ставят перед нами термины «рациональность» и «рациональное действие», используемые в нынешней литературе, безусловно, занимает центральное место в методологии и эпистемологии научного исследования социального мира. Сами эти термины, однако, не только употребляются во множестве самых разных значений — причем иногда даже в работах одного автора, примером чему служит Макс Вебер, — но и крайне неадекватно представляют лежащую в их основе понятийную схему. Чтобы выявить скрытые двусмысленности и коннотации и вычленив проблему рациональности из сонма окружающих ее проблем, мы должны углубиться в структуру социального мира и провести обширное исследование разных установок в отношении социального мира, принимаемых действующим лицом в этом мире, с одной стороны, и его научным наблюдателем — с другой.

То, что обычно понимается под «рациональным действием», лучше всего показывает определение «рациональности», или «разумности», которое дал в своем замечательном исследовании «*Структура социального действия*» профессор Толкотт Парсонс<sup>1</sup>:

«Действие рационально постольку, поскольку преследует цели, возможные в условиях данной ситуации, и пользуется для этого средствами, которые из всех средств, доступных действующему лицу, более всего пригодны для этой цели по причинам, которые могут быть поняты и верифицированы позитивной эмпирической наукой». Указывая в обычной для него скрупулезной манере на методологическую точку зрения, с которой он подходит к рассмотрению этой проблемы, профессор Парсонс следующим образом комментирует данное опре-

\* *Schutz A. The Problem of Rationality in the Social World // Economica*. L., 1943. Vol. 10, № 38 (May). P. 130–149. Пер. В.Г. Николаева.

деление: «Поскольку наука является по преимуществу рациональным достижением, очерченный здесь подход описывается через аналогию между научным исследователем и действующим лицом, осуществляющим обычную практическую деятельность. Исходным пунктом является понимание действующего лица, узнающего факты ситуации, в которой он действует, а тем самым необходимые условия и доступные средства для реализации своих целей. С точки зрения отношения “средства—цели”, здесь, по сути, речь идет о точном предсказании вероятных последствий разных возможных способов изменения ситуации (применения альтернативных средств) и происходящем таким образом выборе тех или иных из этих средств. Независимо от вопросов, относящихся к выбору целей, а также “усилиям”..., там, где этот стандарт вообще может быть применен, не возникает почти никаких затруднений в постижении действующего лица по аналогии с ученым, знание которого является важнейшей детерминантой его действия, в той мере, в какой его способ действия согласуется с ожиданиями наблюдателя, который, как говорит Парето, обладает “более широким знанием обстоятельств”».

Это определение дает нам отличное резюме широко используемого понятия рационального действия, в той мере, в какой оно относится к уровню социальной теории. Вместе с тем, важно определить более точно специфику этого теоретического уровня, сопоставив его с другими уровнями нашего переживания социального мира. Следовательно, мы должны начать с исследования того, что мы в действительности имеем в виду, когда говорим о разных уровнях наблюдения социального мира. Нижеследующее краткое описание социального мира, каким он представляется лицу, действующему в этом мире своей повседневной жизни, даст нам возможность разобраться, является ли категория рациональности определяющим фактором его действий или нет. Только после этих предварительных замечаний мы обратимся к анализу социального мира, каким он дан научному наблюдателю; и одновременно с этим нам необходимо рассмотреть вопрос о том, совпадают ли категории интерпретации, используемые ученым, с категориями интерпретации, которыми пользуется наблюдаемое действующее лицо. Предвосхищая результаты нашей работы, можно сразу же сказать, что при переходе с одного уровня на другой все концептуальные схемы и интерпретируемые термины должны модифицироваться.

## II

Тот факт, что один и тот же объект по-разному является разным наблюдателям, некоторые философы иллюстрировали на примере города, который, даже оставаясь всегда одним и тем же, видится разными людьми по-разному, в зависимости от их индивидуальных точек зрения. У меня нет желания злоупотреблять этой метафорой, однако она помогает прояснить различие между тем, как мы видим социальный мир, в котором мы наивным образом живем, и социальный мир, который становится объектом научного наблюдения. Человек, выросший и воспитанный в городе, будет находить путь в лабиринте улиц, повинувшись привычкам, приобретенным им в ходе его повседневных занятий. Он может не иметь внутренне согласованного представления об организации города, а если пользуется подземкой, чтобы добраться до места службы, то значительная часть города может оставаться для него неизвестной. И тем не менее, он будет правильно чувствовать расстояния между разными местами и направления, в которых расположены разные точки по отношению к тому, что он считает центром. Обычно этим центром становится его дом, и ему вполне достаточно знать, что он без труда найдет поблизости станцию метро или автобусную остановку, с которых можно будет добраться в некоторые другие места, для того чтобы вовлечь эти места в пределы своей досягаемости. На этом основании он может говорить, что знает свой город; и хотя это знание имеет весьма отрывочный характер, оно достаточно для всех его практических нужд.

Когда в город прибывает человек посторонний, он должен научиться в нем ориентироваться и узнавать его. Ничто не является для него само собой разумеющимся, и чтобы выяснить, как добраться из одной точки в другую, ему приходится спрашивать об этом у эксперта, в данном случае — коренного жителя. Разумеется, он может обратиться к карте города, но даже для того, чтобы успешно пользоваться картой, он должен знать смысл используемых на карте знаков, точное место в городе, в котором он в данный момент находится, соответствующую ему точку на карте, а также, по крайней мере, еще одну точку, необходимую для того, чтобы связать знаки, нарисованные на карте, с реальными городскими объектами.

Совершенно другими средствами ориентации должен пользоваться картограф, перед которым поставлена задача на-

рисовать карту города. В его распоряжении есть несколько способов. Он может приступить к работе, взяв фотографию, сделанную с самолета; он может поместить в известную точку теодолит, измерить то или иное расстояние, рассчитать тригонометрические функции и т.д. В картографической науке разработаны стандарты для таких операций, определены элементы, которые картографу необходимо знать, прежде чем приступить к рисованию карты, и выработаны определенные правила, которых он должен придерживаться, чтобы карта была нарисована правильно.

Для всех трех упомянутых нами лиц — коренного жителя, приезжего и картографа — город один и тот же, однако для коренного жителя он наделен особым значением («мой родной город»), для приезжего является местом, где ему придется некоторое время пожить и поработать, а для картографа служит объектом его научной дисциплины, интересующим его лишь с точки зрения стоящей перед ним задачи нарисовать карту. Можно сказать, что один и тот же объект рассматривается на разных уровнях.

Мы были бы, безусловно, очень удивлены, если бы обнаружили, что картограф, изготавливая карту города, ограничивается сбором информации у местных жителей. Между тем, социальные ученые часто избирают этот странный метод. Они забывают, что их научная работа проводится на уровне интерпретации и понимания, отличном от наивных установок ориентации и интерпретации, свойственных людям в их повседневной жизни. Когда эти социальные ученые говорят о разных уровнях, они нередко полагают, что различие между этими уровнями есть всецело и исключительно различие в степени конкретности или всеобщности. Однако эти два термина — не более чем заголовки к проблемам, гораздо более сложным по сравнению с теми, которые ими непосредственно предполагаются.

В нашей повседневной жизни, как и в нашем научном мире, все мы, будучи людьми, склонны более или менее наивно предполагать, что то, что мы уже однажды верифицировали как достоверное, останется таковым и в будущем, а то, что казалось нам не подлежащим сомнению вчера, будет столь же не подлежащим сомнению завтра. Это наивное предположение можно принимать безо всяких опасений, если мы имеем дело с суждениями чистой логики или эмпирическими суждениями высокой степени общности, хотя можно показать, что такого рода суждения тоже имеют границы своей применимос-

ти. С другой стороны, на так называемом конкретном уровне очень многие предположения и импликации мы вынуждены принимать как не подлежащие сомнению. Даже уровень нашего настоящего исследования можно рассмотреть как предопределенный общей суммой непроблематичных предположений, которые мы делаем, когда помещаем себя в определенную точку отсчета, находясь в которой мы намечаем взаимосвязь исследуемых проблем и аспектов. Соответственно, при переходе с одного уровня на другой предполагается, что некоторые предпосылки нашего исследования, прежде считавшиеся непроблематичными, должны оказаться под вопросом; то, что прежде было для нашей проблемы *данностью*, теперь само становится проблематичным. Но уже одного того, что с перемещением точки зрения возникают новые проблемы и аспекты фактов, тогда как другие, прежде составлявшие сердцевину исследуемого вопроса, исчезают, достаточно для того, чтобы привести к глубокой модификации смысла всех терминов, которыми мы с полным на то правом пользовались на прежнем уровне. Тщательный контроль над такими смысловыми модификациями становится, таким образом, настоятельной необходимостью, если мы желаем избежать риска наивного переноса с одного уровня на другой терминов и суждений, достоверность которых существенно ограничена каким-то отдельным уровнем, т.е. относящимися к этому уровню допущениями.

Философская и, в частности, феноменологическая теория внесла очень важный вклад в лучшее понимание этого феномена. Однако нам нет нужды углубляться здесь в эту весьма запутанную проблему с феноменологической точки зрения. Достаточно будет сослаться на выдающегося мыслителя англоязычного мира Уильяма Джемса и его теорию понимания. Именно он научил нас, что каждое из понятий, которые мы используем, имеет свои особые окаймления, окружающие ядро его неизменного значения. «В нашем мышлении, — говорит он, — всегда есть какая-то тема, или некое содержание, вокруг которого вращаются все составные части данной мысли. В окаймлении наших понятий постоянно ощущается их связь с нашей темой, или интересом. Каждое слово в предложении ощущается не только как слово, но и как нечто наделенное значением. Значение слова, динамически улавливаемое таким образом в предложении, может совершенно отличаться от того значения, которое улавливается в этом слове статически, или вне контекста».

Мы не будем обсуждать здесь теорию Джемса, объясняющую природу таких обрамлений и их возникновение в потоке мышления. Для наших целей достаточно сказать, что уже те соединения, в которых понятие, или термин, используется, и его связь с темой интереса (а в нашем случае такой темой интереса является *проблема*) рождает специфические модификации в окружающих ядро обрамлениях или даже самом ядре. Кроме того, Уильям Джемс объяснил, что мы схватываем не изолированные явления, а скорее область, образуемую несколькими взаимосвязанными и взаимосплетенными явлениями, в том виде, в каком она возникает в потоке нашего мышления. Эта теория в достаточной для наших целей степени объясняет феномен модификации значения термина при переходе на другой уровень. Полагаю, этих поверхностных отсылок будет достаточно, чтобы указать на природу той проблемы, с которой мы здесь имеем дело.

Термин «рациональность» — или, по крайней мере, предполагаемый им концепт — играет в структуре социальной науки специфическую роль «ключевого понятия». Для ключевых понятий характерно, что они, будучи введенными во внешне единую систему, конституируют дифференциации тех точек зрения, которые мы называем уровнями. Следовательно, смысл таких ключевых понятий не зависит от уровня актуального исследования. Напротив, именно уровень, на котором может вестись исследование, зависит от значения, которое придается ключевому понятию; само введение понятия производит разделение того, что прежде казалось гомогенной областью изучения, на несколько разных уровней. Предвосхищая то, что мы далее собираемся доказать, скажем, что уровень, становящийся доступным для нас благодаря введению термина «рациональное действие» в качестве основного принципа социально-научного метода, представляет собой не что иное, как уровень теоретического наблюдения и интерпретации социального мира.

### III

Как научные наблюдатели социального мира, мы испытываем к нему не практический, а исключительно познавательный интерес. Это значит, что мы не действуем в нем, неся полную ответственность за последствия, а скорее созерцаем его с той от-

страненной невозмутимостью, с какой созерцают физики свои эксперименты. Однако не будем забывать о том, что, несмотря на нашу научную деятельность, все мы остаемся в нашей повседневной жизни людьми среди других людей, с которыми нас связывают многочисленные взаимоотношения. Точнее говоря, даже сама наша научная деятельность базируется на сотрудничестве между нами, учеными, а также нашими учителями и учителями наших учителей — сотрудничестве, осуществляемом посредством взаимного влияния и взаимной критики. Но поскольку научная деятельность социально фундирована, она представляет собой одну из эманаций нашей человеческой природы и определенно принадлежит к нашей повседневной жизни, определяемой категориями профессии и увлечения, работы и досуга, планирования и достижения. Научная деятельность как социальный феномен — одно дело; специфическая установка, принимаемая ученым по отношению к изучаемой проблеме, — совсем другое. Если рассматривать научную работу как сугубо человеческую деятельность, то от других видов человеческой деятельности она отличается только тем, что задает архетип рациональной интерпретации и рационального действия.

В повседневной жизни мы чрезвычайно редко действуем рационально, если понимать данный термин в том смысле, который предусмотрел для него в вышеприведенном утверждении профессор Парсонс. Мы даже не интерпретируем рационально окружающий нас социальный мир, разве что при особых обстоятельствах, заставляющих нас отказаться от той базисной установки, в которой мы просто живем своей жизнью. По-видимому, каждый из нас наивно организует свой социальный мир и свою повседневную жизнь таким образом, что оказывается в центре окружающего его социального космоса. Или, лучше сказать, уже рождается в организованном социальном космосе. Для него это космос, и притом организованный, поскольку в нем содержится всё то удобное оснащение, которое делает его повседневную жизнь и повседневную жизнь его собратьев рутинным делом. С одной стороны, есть различного рода институты, орудия, машины и т.д.; с другой стороны — привычки, традиции, правила и накопленный опыт, приобретенный и переданный по наследству. Кроме того, есть спектр систематизированных отношений, связывающих каждого человека с его собратьями, начиная от отношений с членами собственной семьи, родственниками, друзьями, знакомыми, людьми, с которыми хотя бы раз в жизни довелось

встретиться, и заканчивая отношениями с теми анонимными людьми, которые работают где-то и каким-то образом — как именно, он не может даже вообразить, — но результатом чего становится то, что письмо, опущенное им в почтовый ящик, со временем доходит до адресата, а его настольная лампа зажигается, стоит лишь повернуть выключатель.

Таким образом, социальный мир вместе с находящимися в нем «альтер эго» организуется вокруг человеческого Я как центра в соответствии с различными степенями близости и анонимности. Вот здесь нахожусь я, а в непосредственном соседстве со мной — те «альтер эго», о которых Киплинг говорит, что «их души я знаю насквозь». Далее следуют те, с кем я разделяю время и пространство и кого я знаю более или менее близко. Еще дальше по порядку следуют многочисленные отношения, связывающие меня с людьми, личности которых меня интересуют, хотя я обладаю о них всего лишь косвенным знанием, — таким, какое можно, например, получить из их трудов, сочинений или из сведений, полученных от других людей. К данному типу относится, например, социальное отношение, связывающее меня с автором книги, которую я читаю. С другой стороны, я связан социальными отношениями (в специальном смысле слова), пусть даже поверхностными и непостоянными, с другими, чьи личности мне не интересны и которым просто довелось исполнять функции, в выполнении которых я заинтересован. Продавщица в магазине, где я покупаю себе крем для бритья, или человек, чистящий мои туфли, может быть, гораздо более интересны как личности по сравнению со многими моими друзьями. Я этого не проверяю. Я не проявляю интереса к социальному контакту с этими людьми. Я просто хочу приобрести крем для бритья и чтобы мои туфли во что бы то ни стало были начищены. В этом смысле, когда мне надо позвонить кому-то по телефону, для меня не имеет почти никакого значения, позволит ли мне это сделать телефонистка или телефонный диск. Кстати говоря — и тут мы вступаем в самую отдаленную сферу социальных отношений, — диск тоже выполняет свою социальную функцию, поскольку он, как и все иные продукты человеческой деятельности, произведен от человека, который его изобрел, спроектировал и произвел. Однако если у меня не возникает для того особого мотива, я не задаюсь вопросами об истории, происхождении и устройстве орудий и институтов, созданных деятельностью других людей. Точно так же я не задаю вопросов о личности и судьбе тех со-

братьев, чью деятельность я рассматриваю как чисто *типичную* функцию. Во всяком случае — и это важно с точки зрения стоящей перед нами проблемы, — я могу успешно пользоваться телефоном, не зная, как он функционирует; я заинтересован лишь в том, чтобы он работал. Меня несколько не заботит, обеспечивается ли достижение результата — а только оно меня интересует — вмешательством человеческого существа, чьи мотивы остаются для меня нераскрытыми, или механизмом, принципов действия которого я не понимаю. Для меня значим лишь типичный характер события в типичной ситуации.

Таким образом, в этой организации социального мира человеком, наивно в нем живущим, мы уже обнаруживаем ядро той системы типов и типичных отношений, которую мы позже во всей ее разветвленности увидим как сущностный элемент научного метода. Эта типизация нарастает тем больше, чем больше личность другого человека растворяется в нераскрытой анонимности его функции. При желании можно истолковать процесс прогрессивной типизации и как процесс рационализации. По крайней мере, это предусматривается одним из нескольких значений, которые придает термину «рационализация» Макс Вебер, когда говорит о «расколдовании мира» (*Entzauberung der Welt*). Этот термин означает преобразование неподконтрольного и непостижимого мира в организацию, которую мы можем понять, над которой мы можем тем самым установить господство и в рамках которой станем возможным предсказание.

На мой взгляд, основная проблема разных аспектов, в которых наши собратья, их поведение и действия нам даны, еще не получила со стороны социологов того внимания, которого она заслуживает. Но если социальная наука (за немногими редкими исключениями) не обращала внимания на этот род рационализации ее концептуальной схемы, то каждый из нас, людей, «просто живущих своей жизнью», уже выполнил эту задачу, причем несколько того не планируя и не прилагая к тому никаких усилий. Делая это, мы не руководствуемся ни методологическими соображениями, ни какой бы то ни было концептуальной схемой отношений между средствами и целью, ни какими бы то ни было представлениями о ценностях, которые мы должны воплотить. Исключительно наш практический интерес — возникающий в той или иной ситуации нашей жизни и модифицируемый изменением ситуации, происходящим в самый момент протекания события, — и только он, служит единственным релевантным принципом построения

той перспективной структуры, сквозь призму которой является нам в повседневной жизни наш социальный мир. Ибо, равно как все наши визуальные апперцепции пребывают в согласии с принципами перспективы и передают нам впечатления о глубине и расстоянии, так и все наши апперцепции социального мира обладают с необходимостью базисным характером перспективного видения. Конечно, социальный мир шестидесятилетнего китайского буддиста, живущего во времена династии Мин, будет организован совершенно иначе, нежели социальный мир двадцатилетнего американского христианина наших дней. Но факт остается фактом: оба эти мира будут организованными, причем организованными в категориях знакомости и чуждости, личности и типа, интимности и анонимности. И кроме того, каждый из этих миров будет сосредоточен в Я того человека, который в нем живет и действует.

#### IV

Но продолжим наш анализ того знания, которым обладает о мире — как природном, так и социальном — человек, живущий наивной жизнью. В своей повседневной жизни здоровый, взрослый и бодрствующий человек (о других мы не говорим), так сказать, автоматически имеет это знание под рукой. Из наследия и воспитания, из многочисленных влияний традиции, привычек и собственных прежних размышлений выстраивается его запас опыта. Он содержит в себе самые разные типы знания, находящиеся в крайне рассогласованном и спутанном состоянии. Ясные и отчетливые переживания перемешаны в нем со смутными догадками; предположения и предрассудки соседствуют с хорошо проверенными сведениями; мотивы, средства и цели, а также причины и следствия сплетены воедино при отсутствии у индивида ясного понимания их реальных связей. Повсюду имеются пропуски, пробелы, несостыковки. Внешне присутствует своего рода организация, строящаяся на привычках, правилах и принципах, которые мы регулярно и успешно применяем. Однако происхождение наших привычек почти не подпадает под наш контроль; правила, применяемые нами, являются эмпирическими и приблизительными, и их достоверность никогда не проверялась. Принципы же, из которых мы исходим, отчасти некритически перенимаются нами от родителей и учителей, а отчасти случайно выводятся из спе-

цифических ситуаций нашей жизни или жизни других без всякого дальнейшего анализа их непротиворечивости. Нигде нет гарантии надежности всех тех допущений, которыми мы руководствуемся. С другой стороны, нам достаточно этих переживаний и правил, чтобы справляться с жизнью. Как правило, нам приходится действовать, а не рассуждать, чтобы удовлетворить требования текущего момента, с которыми необходимо справиться, а потому мы не питаем интереса к «поиску определенности». Нам довольно того, что у нас есть весомые шансы достичь своих целей, а эти шансы, как нам нравится думать, мы имеем тогда, когда приводим в действие тот механизм привычек, правил и принципов, который уже был ранее опробован и до сих пор выдерживал проверку. Наше знание повседневной жизни не лишено гипотез, индукций и предсказаний, но все они имеют приблизительный и типический характер. Идеал повседневного знания — не достоверность и даже не вероятность в математическом смысле, а всего-навсего правдоподобие. Предвосхищения будущих состояний дел представляют собой догадки о том, на что следует надеяться и чего следует опасаться, или, в лучшем случае, о том, чего мы резонно можем ожидать. Впоследствии, когда предвосхищенное состояние дел принимает ту или иную актуальную форму, мы не говорим, что наше предсказание оказалось истинным или ложным или что наша гипотеза выдержала проверку; мы говорим, что наши надежды или страхи были оправданными или неоправданными. Согласованность этой системы знания — не та согласованность, которой обладают естественно-научные *законы*. Это согласованность *типичных* последовательностей и связей.

Такого рода знание и его организацию я бы назвал, по аналогии с кулинарным искусством, «знанием рецептов». Поваренная книга содержит рецепты, списки ингредиентов, формулы их смешивания и наставления по приготовлению блюд. Это все, что нам нужно, для того чтобы приготовить яблочный пирог; и это все, что нам нужно, для того чтобы решать рутинные проблемы повседневной жизни. Если нам нравится приготовленный данным способом яблочный пирог, мы не спрашиваем, является ли способ его приготовления, описанный в рецепте, наиболее правильным с гигиенической точки зрения или с точки зрения работы пищеварения, является ли он наиболее быстрым, наиболее экономным или наиболее эффективным. Мы просто едим пирог, и он нам нравится. Большинство наших повседневных форм деятельности с момента

пробуждения до отхода ко сну имеет именно такой характер. Они осуществляются благодаря следованию рецептам, сведенным к автоматическим привычкам или само собой разумеющимся банальностям. Для такого рода знания значима лишь сама регулярность событий внешнего мира и безразлично ее происхождение. Благодаря этой регулярности можно резонно ожидать, что завтра утром взойдет солнце. Столь же регулярно и, следовательно, столь же резонно я могу ожидать, что автобус доставит меня до места моей работы, если я правильно выберу маршрут и оплачу своей проезд.

## V

Вышеприведенные замечания характеризуют, хотя и очень поверхностно, концептуальную схему нашего повседневного поведения в той, конечно, мере, в какой здесь вообще может быть применен термин «концептуальная схема». Следует ли классифицировать поведение только что описанного типа как рациональное или иррациональное? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны проанализировать различные двусмысленности, содержащиеся в понятии «рациональность», в его применении к уровню повседневного опыта.

1. Нередко слово «рациональный» используется как синоним слова «разумный». В нашей повседневной жизни мы явно поступаем разумно, когда пользуемся теми рецептами, которые находим в запасе нашего опыта как уже прошедшие проверку в аналогичной ситуации. Однако поступать рационально часто означает избегать механического применения прецедентов, отказ от использования аналогий и поиски нового способа совладать с ситуацией.

2. Иногда рациональное действие приравнивается к обдуманному поступку, однако и слово «обдуманное» само по себе требует пояснения.

(а) Рутинное действие в повседневной жизни является обдуманным постольку, поскольку всегда отсылает к изначальному акту обдумывания, который некогда предшествовал построению формулы, ныне принимаемой действующим лицом в качестве стандарта его действительного поведения.

(б) При удобном определении термина «обдумывание» в него может включаться понимание применимости рецепта, который оказался успешным в прошлом, к настоящей ситуации.

(в) Мы можем вкладывать в термин «обдумывание» значение чистого предвосхищения конечного результата – и это предвосхищение всегда будет мотивом, побуждающим действующее лицо приступить к действию.

(г) С другой стороны, термин «обдумывание» в том смысле, в каком, например, его использует профессор Дьюи в книге «Человеческая природа и поведение», означает «драматическую репетицию в воображении различных конкурирующих друг с другом возможных линий поведения». В этом смысле, имеющем огромное значение для теории рациональности, мы не можем отнести к классу рациональных тот тип повседневных действий, который мы до сих пор анализировали в качестве действий обдуманных. Напротив, для этих рутинных действий характерно, что проблема выбора из наличного спектра возможностей не входит в сознание действующего лица. Но тогда мы должны немедленно возвратиться к проблеме выбора.

3. Рациональное действие часто определяют как «спланированное» или «спроектированное» действие, причем точно не указывается, в каком смысле употребляются термины «спланированное» и «спроектированное». Мы не можем просто так сказать, что нерациональные рутинные акты повседневной жизни не планируются сознательно. Напротив, они помещены в структуру наших планов и проектов. Более того, они служат инструментами их реализации. Всякое планирование предполагает цель, которую необходимо поэтапно осуществить; и каждую из ступеней достижения цели можно, с той или иной точки зрения, назвать либо средством, либо промежуточной целью. Стало быть, функция любой рутинной работы состоит в стандартизации и механизации самих связей между средствами и целями путем соотнесения стандартизированных средств со стандартизированными классами целей. Результатом такой стандартизации становится то, что промежуточные цели исчезают из той сознательно намечаемой цепочки средств, которую надо реализовать для достижения запланированного результата. Однако здесь встает проблема субъективного смысла, уже упомянутая нами ранее. Нельзя говорить об отдельном поступке так, как если бы эта единица была конституирована или демаркирована наблюдателем. Мы должны серьезно спросить: где начинается единичный акт и когда он заканчивается? Далее мы увидим, что только сам действующий в состоянии ответить на этот вопрос.

Возьмем конкретный пример. Допустим, профессиональная жизнь бизнесмена организована и спланирована до такой

степени, что он намерен продолжать заниматься бизнесом на протяжении ближайших десяти лет, после чего надеется уйти в отставку. Продолжать делать свою работу значит для него ежедневно приходиться утром в свой офис. Для этого он должен в назначенный час выходить из дома, покупать билет, садиться на поезд и т.д. Он делал это вчера и будет делать это завтра, если тому не помешают какие-нибудь чрезвычайные обстоятельства. Допустим, в один прекрасный день он опаздывает на работу и думает: «Если я не поспею на поезд, то опоздаю на службу. Господин Х будет уже там, поджидая меня. Он будет не в духе и, возможно, не подпишет контракт, от которого так зависит мое будущее». Представим далее, что некий наблюдатель смотрит на этого человека, «как обычно» (насколько он полагает) спешащего на поезд. Является ли его поведение спланированным, и если да, то в чем состоит этот план? Только сам действующий может дать ответ на этот вопрос, потому что только он один знает временную протяженность своих планов и проектов. Вероятно, вся рутинная работа является орудием достижения целей, которые находятся за рамками рутинной работы и ее детерминируют.

4. «Рациональное» нередко отождествляют с «предсказуемым». Нам нет нужды возвращаться к этому вопросу. Мы уже проанализировали выше специфическую форму предсказания, существующую в повседневном знании, как простую оценку правдоподобия.

5. В интерпретации некоторых авторов «рациональное» соотносится с «логичным». Одним из примеров служит определение профессора Парсонса, другим — теория нелогического действия Парето, на которую он ссылается. В той мере, в какой речь идет о научном понятии рационального действия, к нему можно с полным правом применить систему логики. С другой стороны, на уровне повседневного опыта логика в ее традиционной форме не может оказать нам той помощи, в которой мы нуждаемся и которой мы от нее ждем. Традиционная логика — это логика понятий, базирующаяся на определенных идеализациях. Например, ориентируясь на постулат ясности и отчетливости понятий, традиционная логика не принимает во внимание те обрамления, которыми окружено ядро понятия в потоке мышления. В свою очередь, мышление в повседневной жизни интересуется, главным образом, именно обрамлениями, связывающими ядро понятия с наличной ситуацией мыслящего. Это, безусловно, очень важный момент. Именно по этой

причине Гуссерль относит большую часть наших высказываний в повседневном мышлении к классу «окказиональных высказываний», т.е. высказываний, действенных и понятных лишь в связи с ситуацией говорящего и их местом в его потоке мышления. И именно по этой причине в нашем повседневном мышлении мы менее интересуемся антитезой «истинное—ложное» и более чувствительны к скользкому переходу от «правдоподобного» к «неправдоподобному». Повседневные высказывания нацелены не на достижение формальной достоверности в той или иной сфере, которую бы мог признать кто-то еще (чем занимается логик), а на получение знания, действенного лишь для нас и для достижения наших практических целей. В этой — но только в этой — степени принцип прагматизма неоспорим. Это описание стиля повседневного мышления, а не теория познания.

6. В интерпретации других авторов рациональный поступок предполагает выбор между двумя или более средствами достижения одной и той же цели или даже между двумя разными целями, а также отбор наиболее подходящих из них. Эта интерпретация будет проанализирована в следующем параграфе.

## VI

Как указывал профессор Джон Дьюи, в повседневной жизни почти все наше внимание поглощено следующим шагом. Человек останавливается и задумывается лишь тогда, когда последовательность делания прерывается, и это ее размыкание в форме проблемы заставляет его остановиться и отрепетировать во всех подробностях альтернативные способы действий, предлагаемые прошлым опытом столкновения с данной проблемой. Образ драматической репетиции будущего действия, используемый профессором Дьюи, подходит как нельзя лучше. И в самом деле, мы не можем выяснить, какая из альтернатив приведет к желаемому результату, не вообразив этот поступок уже совершённым. Таким образом, мы должны мысленно поместить себя в будущее состояние дел, рассматриваемое нами как уже осуществленное, хотя его осуществление еще только должно стать результатом созерцаемого нами действия. Только рассмотрев акт как уже совершенный, мы можем судить о том, являются ли созерцаемые средства его осуществления подходящими или неподходящими и вписывается ли цель, которую мы предполагаем реализовать, в наш общий жизненный



план. Я предпочел бы называть этот метод обдумывания «мышлением в будущем совершенном времени». Между тем, есть огромная разница между актуально выполненным действием и действием, лишь воображаемым в качестве выполненного. Реально совершенный поступок необратим, и с вызванными им последствиями приходится считаться независимо от того, привел ли он к успеху или нет. Воображение же всегда обратимо и может сколько угодно пересматриваться. Следовательно, уже просто репетируя несколько проектов, я могу приписать каждому разную вероятность успеха, но никогда не могу быть разочарован его неудачным исходом. Как и все прочие предвосхищения, репетируемое будущее действие содержит в себе пробелы, которые могут быть заполнены только выполнением данного действия. Следовательно, действующий будет видеть лишь в ретроспекции, выдержал ли его проект проверку или оказался неудачным.

Процедура выбора выглядит следующим образом. Разум действующего проигрывает одну альтернативу за другой, пока из него, по словам Бергсона, не выпадает решение, подобно тому, как падает с дерева созревший плод. Однако в качестве необходимого условия всякого выбора действующий должен ясно сознавать, что реально существуют альтернативные способы применения разных средств и даже альтернативные цели. Было бы ошибкой полагать, что сознание таких альтернатив и, следовательно, выбор с необходимостью предшествуют каждому человеческому действию и что, стало быть, любое действие включает в себя обдумывание и предпочтение. Такая интерпретация некритически смешивает отбор в смысле простого выделения альтернатив, не сопровождаемого их сравнением, с выбором как избранием предпочтительного варианта. Отбор, как указывал еще Джемс, есть основная функция человеческого сознания. Интерес — не что иное, как отбор; но он не обязательно включает в себе сознательный выбор между альтернативами, предполагающий рефлексию, волеизъявление и предпочтение. Когда я прогуливаюсь по саду, обсуждая с другом какую-то проблему, и поворачиваю направо или налево, я делаю это не по выбору. В моем разуме отсутствует альтернатива. Определить мотивы такого поведения — дело психологии; я, в свою очередь, не могу сказать, что отдаю предпочтение одному направлению перед другим.

Несомненно, существуют такие ситуации, когда каждый из нас садится и обдумывает свои проблемы. Как правило, он по-

ступает так в критические моменты своей жизни, когда основной его интерес направлен на то, чтобы справиться со сложившейся ситуацией. Но даже и тогда в поисках самого приемлемого решения он руководствуется не только рациональным обдумыванием, но и своими эмоциями — и правильно делает, ведь эти эмоции тоже коренятся в его практическом интересе.

Он будет также обращаться к своему запасу рецептов, к правилам и навыкам, укорененным в его профессиональной жизни или практическом опыте. В своем стандартизированном знании он, безусловно, найдет много систематизированных решений. Он еще может проконсультироваться у эксперта, но опять-таки получит не что иное, как рецепты и систематизированные решения. Его выбор будет обдуманным, и он, отрететировав все возможные действия, открытые перед ним в будущем совершенном времени, приведет в действие то решение, которое покажется ему сулящим наибольшие шансы на успех.

Но при каких условиях мы можем классифицировать обдуманный акт выбора как рациональный? Видимо, нам следует провести различие между рациональностью знания, служащего предпосылкой рационального выбора, и рациональностью самого выбора. Рациональность знания имеет место лишь при условии, что все элементы, из числа которых действующий должен делать выбор, осознаются им ясно и отчетливо. Сам же выбор является рациональным при условии, что из всех средств, находящихся в пределах его досягаемости, действующий отбирает то, которое наиболее подходит для достижения поставленной цели.

Мы уже увидели, что ясность и отчетливость в строгом формально-логическом смысле не свойственны типичному стилю повседневного мышления. Однако было бы ошибкой сделать из этого вывод, что в сфере повседневной жизни не существует рационального выбора. И в самом деле, было бы достаточно истолковать термины «ясность» и «отчетливость» в модифицированном и более узком значении, а именно — как ясность и отчетливость, адекватные требованиям практического интереса действующего лица. В наши задачи не входит обсуждение того, часто или нечасто встречаются в повседневной жизни рациональные поступки, отвечающие вышеупомянутым качествам. Несомненно, что «рациональные акты» вместе с их противоположностью, определяемой Максом Вебером как «традиционные» или «привычные», представляют собой идеальные типы, которые крайне редко встречаются в повседневном дей-

ствии в чистом виде. Мне лишь хотелось бы подчеркнуть, что идеал рациональности не является и не может быть специфической особенностью повседневного мышления и, следовательно, не может быть методологическим принципом интерпретации человеческих действий в повседневной жизни. Это станет еще более ясным, если обсудить скрытые импликации утверждения — или, лучше сказать, постулата, — что рациональный выбор присутствует лишь при условии, что действующий обладает достаточным знанием цели, которой необходимо достичь, и различных средств, пригодных для ее достижения. Этот постулат предполагает:

а) знание места, занимаемого целью, которой необходимо достичь, в структуре планов действующего лица (которую он тоже должен знать);

б) знание ее взаимосвязей с другими целями и ее совместности или несовместности с ними;

в) знание желательных и нежелательных последствий, которые могут возникнуть как побочные результаты осуществления главной цели;

г) знание различных цепочек средств, которые технически или даже онтологически подходят для достижения этой цели, независимо от того, все или только некоторые их элементы подконтрольны действующему лицу;

д) знание помех, создаваемых этими средствами, для других целей или других цепочек средств, включая все их вторичные эффекты и случайные последствия;

е) знание доступности этих средств для действующего лица, отбирающего те средства, которые находятся в его досягаемости и которые он способен и может привести в действие.

Вышеназванные позиции никоим образом не исчерпывают того сложного анализа, который потребовался бы для ниспровержения понятия рационального выбора в действии. Сложности еще более возрастают, когда рассматриваемое действие является социальным, т.е. ориентированным на других людей. В этом случае дополнительными детерминантами выбора действующего становятся следующие элементы.

Во-первых, правильная или неправильная интерпретация его поступка его товарищем.

Во-вторых, реакция других людей и ее мотивация.

В-третьих, все упомянутые элементы знания (от а до е), которые действующий правильно или ошибочно приписывает своим партнерам.

В-четвертых, все категории знакомости и чуждости, интимности и анонимности, личности и типа, которые мы открыли в ходе нашей инвентаризации организации социального мира.

Этот краткий анализ показывает, что мы не можем говорить об *изолированном* рациональном действии, если подразумевать под ним такой акт, который является результатом свободного обдуманного выбора; мы можем говорить лишь о *системе* рациональных действий<sup>2</sup>.

Но где искать такую *систему* рационального действия? Мы уже отметили, что понятие рациональности занимает свое законное место не на уровне повседневных представлений о социальном мире, а на теоретическом уровне его научного наблюдения. Именно здесь оно находит область своего методологического применения. И следовательно, пора перейти к проблеме социальных наук и научным методам ее интерпретации.

## VII

Наш анализ социального мира, в котором мы живем, показал, что каждый из нас считает себя центром этого мира и организует этот мир вокруг себя в соответствии со своими интересами. Установка, принимаемая по отношению к социальному миру наблюдателем, совершенно иная. Для него этот мир — не театр его действий, а объект созерцания, на который он взирет с отстраненной невозмутимостью. Как ученый (но не как человек, занимающийся наукой) наблюдатель по существу одинок. У него нет компаньонов; можно сказать, что он вынес себя за пределы социального мира со всеми его многочисленными отношениями и системой интересов. Каждый человек, чтобы стать социальным ученым, должен настроить свой ум таким образом, чтобы в центр этого мира был помещен не он сам, но кто-то другой, а именно — наблюдаемый человек. Однако со смещением центра трансформируется вся система и, да будет мне позволено воспользоваться такой метафорой, все уравнения, бывшие обоснованными в прежней системе, теперь должны быть выражены в терминах новой. Если бы рассматриваемая социальная система достигла идеального совершенства, стало бы возможным установить универсальную формулу преобразования, аналогичную той, которую установил Эйнштейн для перевода суждений ньютоновской системы механики в суждения теории относительности.

Первым и фундаментальным следствием этого сдвига точки зрения становится то, что ученый заменяет человеческих существ, наблюдаемых им на социальной сцене в качестве действующих лиц, куклами-марионетками, которых он сам создает и которыми он манипулирует. То, что я называю «куклами-марионетками», соответствует специальному термину «идеальные типы», введенному в социальную науку Вебером.

Анализ нашего общего социального мира показал нам происхождение типизации. В обыденной жизни мы типизируем человеческие деятельности, которые интересуют нас лишь как подходящие средства получения желаемых результатов, но не как эманации личностей наших собратьев. Процедура, осуществляемая научным наблюдателем, в целом, такая же. Он наблюдает те или иные события как следствия человеческой деятельности и приступает к установлению типа таких событий. Потом он связывает с этими типичными действиями типичных действующих лиц как их исполнителей. В итоге он заканчивает конструированием личностных идеальных типов, которые в его воображении наделяются сознанием. Это фиктивное сознание конструируется таким образом, что фиктивное действующее лицо, будь он не куклой, а человеком из плоти и крови, имел бы тот же поток мышления, что и действующий аналогичным образом живой человек, однако с тем важным отличием, что искусственное сознание не подчинено онтологическим условиям человеческого существования. Кукла не рождается, не растет и не может умереть. Она лишена надежд и страхов; ей неведома тревога в качестве основного мотива ее поступков. Она несвободна в том смысле, что ее действия не могут выйти за пределы, установленные ее творцом, социальным ученым. В ней, следовательно, не может быть никаких конфликтов между интересами и мотивами, за исключением тех, которые имплантировал в нее социальный ученый. Личностный идеальный тип не может ошибаться, если способность совершать ошибки не заложена в его типичную судьбу. Он не может совершать действий, которые выходили бы за рамки предусмотренных ученым типичных мотивов, типичных связей «средства—цели» и типичной ситуации. Короче говоря, идеальный тип есть всего лишь модель сознания, не способная к спонтанности и лишенная собственной воли. В типичных ситуациях нашей повседневной жизни все мы тоже принимаем определенные типичные роли. Обособляя ту или иную де-

ятельность от взаимосвязей со всеми другими проявлениями нашей личности, мы надеваем на себя маски потребителей или налогоплательщиков, граждан, членов церкви или клуба, клиентов, курильщиков, посторонних и т.д. Например, путешественник должен вести себя таким специфическим образом, которого, как он считает, будет ожидать тип «железнодорожный агент» от типичного пассажира. Для нас в нашей повседневной жизни эти установки служат не более чем ролями, которые мы добровольно принимаем в качестве средств для достижения целей и можем отбросить, когда нам это понадобится. Однако принятие такой роли не меняет нашей общей установки по отношению к социальному миру и собственной жизни. Наше знание остается несогласованным, наши суждения — окказиональными, наше будущее — неопределенным, а наша общая ситуация — нестабильной. Следующее мгновение может принести с собой великий катаклизм, который окажет влияние на наш выбор, изменит все наши планы и, быть может, обесценит весь наш опыт. И даже пребывая в роли, мы сохраняем свободу выбора, насколько вообще существует такая свобода в человеческих и социальных условиях нашего существования. Эта свобода включает в себе возможность скинуть прочь наши маски, отбросить роль, обновить нашу ориентацию в социальном мире. Мы продолжаем оставаться субъектами, центрами спонтанной активности, действующими лицами.

Кукла же, называемая «личностным идеальным типом», никогда не является субъектом или центром спонтанной активности. Перед ней не стоит задача овладения миром, и у нее, строго говоря, вообще нет мира. Ее судьба отрегулирована и определена заранее ее создателем, социальным ученым, в такой совершенной предустановленной гармонии, которую воображение Лейбница усматривало в мире, сотворенном Богом. По милости своего конструктора кукла наделена именно таким родом знания, какой является необходимым для нее, чтобы выполнять ту работу, ради которой она была введена в научный мир. Ученый распределяет собственный запас опыта — а это значит: научного опыта, выраженного в ясных и четких терминах, — между марионетками, которыми он населяет социальный мир. Однако этот социальный мир организован совершенно иначе: он не сосредоточен вокруг идеального типа; в нем отсутствуют категории интимности и анонимности, знакомости и чуждости; короче говоря, ему недостает базисного

характера перспективной явленности. Значима лишь точка зрения, с которой рассматривает социальный мир *ученый*. Эта точка зрения определяет общую структуру перспектив, в которой выбранный сектор социального мира являет себя научному наблюдателю, а также фиктивному сознанию марионеточного типа. Эта центральная точка зрения ученого называется «изучаемой научной проблемой».

В научной системе проблема имеет для научной деятельности точно такое же значение, какое для деятельности в повседневной работе имеют практические интересы. Сформулированная научная проблема выполняет двойную функцию:

а) Она определяет границы релевантных исследованию возможных суждений. Тем самым она создает область научного содержания, в пределах которой все понятия должны быть совместимы.

б) Сам факт постановки проблемы создает схему соотнесения для конструирования всех идеальных типов, которые могут быть использованы как релевантные.

Для лучшего понимания последнего замечания необходимо принять во внимание, что понятие «тип» не является независимым, а всегда нуждается в дополнении. Нельзя говорить просто об «идеальном типе» как таковом; мы должны указать схему референции, в которой этот идеальный тип может быть использован, т.е. проблему, ради которой он был сконструирован. Заимствуя математический термин, можно сказать, что идеальный тип всегда нуждается в подстрочной ссылке, отсылающей к той проблеме, которая определяет формирование всех используемых типов. В этом смысле рассматриваемая проблема представляет собой локус всех возможных типов, которые могут иметь отношение к изучаемой системе.

Здесь я не могу углубляться в логическое обоснование этого тезиса, который называю *принципом релевантности*. Однако можно истолковать его как применение теории Джемса об обрамлениях понятий. Идеальный тип, как и все другие понятия, окружен обрамлениями, отсылающими к той основной теме, вокруг которой вращаются все элементы мышления. Нетрудно понять, что сдвиг в основной теме, т.е. проблеме, автоматически влечет за собой модификацию в обрамлениях каждого понятия, которое вокруг нее вращается. А поскольку сдвиг в проблеме означает модификацию всего диапазона релевантностей, по той же самой причине, почему со смеще-

нием точки зрения появляются новые факты, а другие факты, прежде находившиеся в центре нашего вопрошания, исчезают. Но это утверждение есть не что иное, как исходное определение, которое мы дали переходу с одного уровня на другой. Разумеется, необходимо признать, что термин «уровень», строго говоря, применим лишь к системам проблем в целом; тем не менее, и в этом случае последствия будут в принципе такими же. Мне кажется важным, чтобы ученый постоянно помнил о том, что каждый сдвиг в проблеме влечет за собой глубокую модификацию всех понятий и типов, с которыми он работает. Бесчисленные заблуждения и противоречия в социальных науках уходят своими корнями в немодифицируемое применение понятий и типов на уровнях, иных, нежели тот, на котором они занимают свое естественное место.

Но зачем вообще формировать личностные идеальные типы? Почему бы не заняться просто сбором эмпирических фактов? А если уж методу типологической интерпретации можно дать успешное применение, то почему бы не ограничиться формированием типов безличных событий или типов группового поведения? Разве нет у нас современной экономической науки как образца такой социальной науки, которая обходится без личностных идеальных типов и работает с кривыми, математическими функциями, движением цен или такими институтами, как, например, банковские системы или валюта? Статистика проделала огромную работу по сбору информации о поведении групп. Так зачем же возвращаться к схеме социального действия и индивидуальному действующему лицу?

Ответим на это так: действительно, значительная часть работы в социальной науке может быть выполнена и действительно выполняется на уровне, законным образом абстрагированном от всего того, что происходит в сознании индивидуального действующего лица. Однако такое оперирование обобщениями и идеализациями на высоком уровне абстракции в любом случае представляет собой не что иное, как своего рода интеллектуальную стенографию. Всегда, когда исследуемая проблема делает это необходимым, социальный ученый должен иметь возможность перевести свое исследование на уровень индивидуальной человеческой деятельности, и там, где делается реальная научная работа, такой сдвиг всегда возможен.

Реальная причина этого состоит в том, что мы не можем работать с феноменами социального мира так, как мы работаем с феноменами, относящимися к сфере природы. В последнем случае мы собираем факты и регулярности, которые нам непонятны и которые мы можем лишь соотнести с теми или иными фундаментальными допущениями о мире. Мы никогда не поймем, почему поднимается столбик ртути в термометре, когда на него светит солнце. Мы можем лишь истолковать этот феномен как совместимый с законами, которые мы дедуцировали из некоторых базисных допущений относительно физического мира. Социальные же феномены мы хотим понять, а понять их мы не можем никак иначе, кроме как в рамках определенной схемы человеческих мотивов, целей и средств, человеческих планов — короче говоря, в категориях человеческого действия.

Следовательно, социальный ученый всегда должен задавать или, по крайней мере, быть готовым задать вопрос о том, что происходит в разуме индивидуального действующего лица, чье действие привело к возникновению изучаемого феномена. Правильнее этот постулат субъективной интерпретации можно было сформулировать следующим образом: ученый должен ставить вопрос о том, какой тип индивидуального сознания можно сконструировать и какие типичные мысли следует ему приписать, чтобы объяснить изучаемый факт как результат его активности, связанный с ней понятным отношением.

Этот постулат находит свое дополнение в другом постулате, который я, заимствуя термин Макса Вебера, предлагаю называть постулатом *адекватности*. Его можно сформулировать следующим образом: «Каждый термин, используемый в научной системе, соотносящейся с человеческим действием, должен быть сконструирован таким образом, чтобы человеческий поступок, выполняемый в жизненном мире индивидуальным действующим лицом тем способом, который указан в типической конструкции, был разумным и понятным как для самого действующего, так и для любого другого человека». Этот постулат имеет крайне важное значение для методологии социальной науки. Соотнесение социальной науки с событиями, происходящими в жизненном мире, вообще становится возможным только благодаря тому, что интерпретация любого человеческого поступка социальным ученым может быть такой же, как и интерпретация его самим действующим или его партнером.

Принцип релевантности, постулат субъективной интерпретации и постулат адекватности применимы на всех уровнях социального исследования. Ими руководствуются, например, все исторические науки. Следующим шагом должно стать выделение из социальных наук категории наук, которые мы называем теоретическими. Отличительной чертой этих теоретических наук является интерпретация социального мира в терминах системы, имеющей определенную логическую структуру<sup>3</sup>. Эта система отношений между средствами и целями тоже является идеально-типической, однако, как указал профессор Парсонс, это не система, имеющая дело с конкретными действиями, а система — как он ее называет — аналитическая. Прежде я уже высказал ту же идею в утверждении о том, что личностные идеальные типы действия, конструируемые т.н. теоретическими науками, максимально анонимны; а это значит, что в них типизируется поведение «людей вообще», или поведение «каждого». Какую бы формулу мы ни использовали для описания специфики теоретической сферы, ясно одно: логически взаимосвязанная система предполагает, что все отношения между целями и средствами, а также система постоянных мотивов и система жизненных планов должны быть сконструированы таким образом, чтобы:

а) она оставалась полностью совместимой с принципами формальной логики;

б) все ее элементы сознавались с полной ясностью и отчетливостью;

в) она содержала в себе только научно проверяемые допущения, которые, в свою очередь, должны быть полностью совместимы со всем корпусом нашего научного знания.

Эти три требования можно объединить в общий постулат построения идеальных типов: постулат *рациональности*. Сформулировать его можно следующим образом: идеальный тип социального действия должен быть сконструирован таким образом, что действующий в жизненном мире выполнял бы типизированное действие, если бы обладал ясным и отчетливым научным знанием всех элементов, релевантных его выбору, и постоянной ориентацией на выбор самых подходящих средств для достижения самой подходящей цели. И действительно, как мы уже с самого начала предполагали, только введение ключевого понятия рациональности может дать все необходимые элементы для конституирования уровня, называемого «чистой теорией». Более того, постулат

рациональности предполагает, что любое другое поведение должно интерпретироваться как производное от базисной схемы рационального действия. Ведь только действие в рамках системы рациональных категорий может быть предметом научного обсуждения. У науки нет иных методов, кроме рациональных, и, стало быть, чисто окказиональные суждения она не может ни подтвердить, ни опровергнуть.

Как ранее уже было установлено, каждый тип, формируемый ученым, имеет свой подстрочный индекс, отсылающий к основной проблеме. А следовательно, в теоретической системе допустимы только чисто рациональные типы. Но где взять ученому гарантии того, что он и в самом деле устанавливает единую систему? Где взять научные инструменты для выполнения этой трудной задачи? Ответим на это так. В каждой отрасли социальных наук, возвысившейся до теоретической стадии своего развития, есть некая фундаментальная гипотеза, определяющая область исследования и дающая руководящий принцип для построения системы идеальных типов. В классической политэкономии, например, такой фундаментальной гипотезой служит утилитарный принцип, а в современной экономической науке — принцип прибыли. Смысл этого постулата таков: «Строй свои идеальные типы так, как если бы все действующие лица ориентировали свои жизненные планы и, следовательно, всю свою деятельность на эту главную цель достижения наибольшей выгоды при минимальных затратах; человеческая деятельность, подобным образом ориентированная (и только данный тип человеческой деятельности), есть предмет изучения твоей науки».

Однако за всеми этими утверждениями возникает проблема, весьма нас смущающая. Если социальный мир, являющийся объектом нашего научного исследования, есть всегонавсего типизированная конструкция, то зачем утруждать себя этой интеллектуальной игрой? Наша научная деятельность, в особенности связанная с изучением социального мира, тоже выполняется в рамках определенной связи между целями и средствами, а именно: с целью приобретения знания для овладения миром, причем миром реальным, а не созданным стараниями ученого. Мы хотим знать, что происходит в реальном мире, а не в фантазиях горстки изошренных эксцентриков.

Можно привести пару аргументов, дабы успокоить такого скептически настроенного собеседника. Прежде всего, конст-

руирование научного мира — не акт произвола ученого, выполняемый им так, как ему заблагорассудится.

1. Существует исторически ограниченная область его науки, которую каждый ученый получает в наследство от своих предшественников в качестве запаса признанных суждений.

2. Постулат адекватности требует, чтобы типическая конструкция была совместимой со всей тотальностью как нашего повседневного, так и нашего научного опыта.

Тому, кто не удовлетворен такими гарантиями и требует большей реальности, мне хотелось бы сказать, что, боюсь, я не знаю точно, что такое реальность, и единственным моим утешением в этой неприятной ситуации служит то, что я разделяю мое неведение с величайшими философами всех времен и народов. Еще раз мне хотелось бы сослаться на У. Джемса и его глубочайшую теорию разных реальностей, в которых мы одновременно живем. Было бы непониманием самой сущности науки полагать, будто она имеет дело с реальностью, если рассматривать в качестве образца реальности мир повседневной жизни. Мир ученого, изучает ли он природу или общество, не более и не менее реален, чем мир мышления вообще. Это не тот мир, в котором мы действуем и в котором мы рождаемся и умираем. Но это реальное место существования тех важных событий и достижений, которые человечество во все времена именovalo культурой.

Следовательно, социальный ученый может уверенно продолжать свою работу. Его проясненные методы, подчиненные указанным постулатам, дают ему гарантии того, что он никогда не утратит контакт с миром повседневной жизни. И до тех пор, пока он с успехом применяет опробованные методы, по сей день выдерживающие проверку, он поступает совершенно правильно, если продолжает работать, не обременяя себя методологическими проблемами. Методология для ученого — не наставник и не учитель. Она всегда его ученица, и нет такого великого мастера в его научной области, который не мог бы чему-то научить методологов. Но подлинно великий учитель всегда учится у своих учеников. Знаменитый композитор Арнольд Шёнберг начинает предисловие к своей талантливой книге о теории гармонии со слов: «Всему, что есть в этой книге, я научился у моих учеников». Выступая в этой роли, методолог должен ставить разумные вопросы о методе работы своего учителя. И если эти вопросы помогают другим осмыслить, чем они реально за-

нимаются, и, может быть, устранить какие-то действительные проблемы, скрытые в основаниях системы научного знания, куда никогда не ступает нога ученого, то методология свою задачу выполнила.

### Примечания

<sup>1</sup> *Parsons T.* The Structure of Social Action. N.Y.: McGraw Hill Company, Inc., 1937. P. 58.

<sup>2</sup> См. превосходное исследование профессора Парсонса, посвященное этой проблеме, помещенное под заглавием «Системы действия и их единство» в конце его книги «*Структура социального действия*».

<sup>3</sup> *Parsons T.* Op. cit. P. 7.

## Социальный мир и теория социального действия\*

На первый взгляд, не так-то легко понять, почему в социальных науках следует отдавать предпочтение субъективной точке зрения. Зачем постоянно обращаться к этому таинственному и не слишком-то интересному тирану социальных наук: субъективности действующего лица? Почему бы, и в самом деле, просто не описывать — добросовестно, в объективных терминах — то, что реально происходит, говоря на своем собственном языке, языке квалифицированных и научно подготовленных наблюдателей социального мира? И если бы кто-то вдруг возразил, что эти термины — не более чем искусственные договоренности, создаваемые нами «по собственной воле и ради собственного удовольствия», и, следовательно, мы не можем воспользоваться ими для того, чтобы проникнуть в то значение, которым обладают социальные акты для тех, кто действует, а только в целях нашей интерпретации этих актов, то мы могли бы в ответ сказать, что *именно это* выстраивание системы условностей и добросовестного описания мира — и только оно одно — является задачей научного мышления; что мы, ученые, не менее суверенны в своей системе интерпретации, чем действующее лицо свободно в установлении своей системы целей и планов; что мы, социальные ученые, в част-

---

\* Статья «Социальный мир и теория социального действия» представляет собой завершающую часть большой работы А. Шюца, написанной им в 1940 г. и посвященной критическому анализу книги Т. Парсонса «Структура социального действия» (1937). Впервые эта статья была опубликована посмертно, в 1960 г., в журнале «Социальное исследование»; заглавие статьи принадлежит редакции журнала. Вставки, заключенные в квадратные скобки, сделаны редакцией журнала «Социальное исследование» и взяты из других мест указанной работы Шюца. Перевод выполнен по первому изданию статьи: *Schutz A.* The Social World and the Theory of Social Action // *Social Research*, 1960. Vol. 27, № 2. P. 203–221. *Пер. В.Г. Николаева.*

ности, обязаны всего лишь следовать образцу естественных наук, которые благодаря тем самым методам, от которых нас вынуждают отказаться, достигли своих наиболее блестящих результатов; и, наконец, что сама суть науки состоит в том, чтобы быть объективной — т.е. достоверной не только для меня, тебя и немногих других, но для каждого, — и что научные суждения относятся не к моему частному миру, а к единственному и единому жизненному миру, общему для всех нас.

Последняя часть этого тезиса, безусловно, верна. Более того: несомненно, возможно представить такую фундаментальную точку зрения, согласно которой социальные науки должны следовать образцу естественных наук и принять их методы. Доведенная до логического конца, эта точка зрения приводит нас к методу бихевиоризма. Критика данного принципа не входит в задачи настоящего исследования. Ограничимся замечанием, что радикальный бихевиоризм терпит неудачу вместе с лежащим в его основе базисным допущением, будто нет никакой возможности доказать разумность «ближнего». То, что тот является разумным человеческим существом, — факт весьма вероятный, но «ненадежный», не поддающийся верификации (как полагают Рассел, а также Карнап).

Но тогда не совсем понятно, зачем разумным индивидам писать книги для других и встречаться с этими другими на конгрессах, чтобы там взаимно доказывать друг другу, что разумность другого — факт спорный. И еще менее поддается пониманию, почему те самые авторы, которые так убеждены в невозможности верифицировать разумность других человеческих существ, так непоколебимо верят в принцип верифицируемости, который только и можно представить через сотрудничество с другими и взаимный контроль. Более того, они не чувствуют ни малейших препятствий, когда исходят в своих размышлениях из догмы, что существует язык, что речевые реакции и вербальные сообщения являются законными методами бихевиористской психологии, что высказывания на этом языке способны иметь смысл, — нисколько при этом не задумываясь о том, что язык, речь, вербальное сообщение, высказывание и смысл уже предполагают наличие разумных альтер эго, способных понять язык, истолковать высказывания и верифицировать смысл<sup>1</sup>. Однако сами феномены понимания и интерпретации нельзя объяснить как чистое поведение, если только не прибегнуть к уловке «скрытого поведения», ускользающего от описания в бихевиористских терминах<sup>2</sup>.

Эти краткие критические замечания не затрагивают, однако, сути нашей проблемы. Бихевиоризм, как и любая другая объективная схема соотнесения, существующая в социальных науках, прежде всего нацелен на объяснение с помощью научно правильных методов того, что реально происходит в социальном мире нашей повседневной жизни. Разумеется, ни целью, ни смыслом научной теории никогда не бывает проектирование и описание такого вымышленного мира, который не имел бы никакого отношения к нашему обыденному опыту и, следовательно, не представлял бы для нас практического интереса. Отцы бихевиоризма не преследовали никакой иной цели, кроме описания и объяснения реальных человеческих действий в реальном человеческом мире. Однако ошибка этой теории как раз и состоит в том, что она подменила социальную реальность вымышленным миром, настойчиво пропагандируя применение в социальных науках тех методологических принципов, которые, будучи истинными в других областях, потерпели фиаско в сфере интерсубъективности.

Бихевиоризм — лишь одна из форм объективизма в социальных науках, хотя и самая радикальная. Перед исследователем социального мира не стоит неумолимой альтернативы: либо принять строго субъективную точку зрения и изучать мотивы и мысли, содержащиеся в разуме действующего лица; либо ограничиться описанием внешнего поведения и принять бихевиористский догмат, что разум другого непостижим и даже сама разумность другого не доказуема. Скорее, мыслима такая базисная установка — и некоторые преуспевающие социальные ученые действительно ее приняли, — которая наивно принимает социальный мир со всеми принадлежащими ему альтер эго и институтами как значимый универсум, причем значимый именно для наблюдателя, единственная научная задача которого состоит в описании и объяснении своего собственного переживания этого мира и переживания его другими наблюдателями.

Разумеется, эти ученые признают, что такие феномены, как нация, государство, рынок, цена, религия, искусство, наука, соотносятся с деятельностью других разумных людей, для которых они конституируют мир их социальной жизни. Более того, они признают, что другие Я создали этот мир своей деятельностью и ориентируют свою дальнейшую деятельность на его существование. Тем не менее, отговариваются они, когда нам нужно дать описание и объяснение фактов этого социаль-



ного мира, мы не обязаны возвращаться к субъективной деятельности этих других Я и ее коррелятам в их сознаниях. С их точки зрения, социальные ученые могут и должны ограничиться изложением того, что означает этот мир для них, не обращая внимания на то, что означает он для действующих в этом социальном мире. Давайте, дескать, будем собирать факты этого социального мира, насколько нам позволяет надежно их представить наш научный опыт, описывать и анализировать эти факты, раскидывать их по надлежащим категориям и изучать регулярности в их форме и развитии, выплывающие на поверхность, — и тогда мы придем к такой системе социальных наук, которая откроет нам базисные принципы и аналитические законы социального мира. Достигнув в один прекрасный день этого рубежа, социальные науки смогут уверенно отбросить субъективный анализ, предоставив заниматься этим делом психологам, философам, метафизикам и вообще кому угодно, в зависимости от того, как мы предпочтем назвать праздных людей, докучающих нам такими проблемами. И — мог бы еще добавить защитник такой точки зрения — не этот ли именно научный идеал стремятся воплотить в жизнь наиболее развитые социальные науки? Взгляните на современную экономику! Грандиозный прогресс этой науки начинается именно с решения некоторых выдающихся умов изучать кривые спроса и предложения и обсуждать уравнивания цен и издержек вместо того, чтобы тратить силы на тяжелые и тщетные попытки проникнуть в тайну субъективных желаний и субъективных ценностей.

Несомненно, такая позиция не только возможна, но и реально воспринята большинством обществоведов. Нет никаких сомнений, что на определенном уровне реальная научная работа может выполняться и действительно выполняется без углубления в проблемы субъективности. Мы можем продвинуться далеко вперед в исследовании таких социальных феноменов, как всевозможного рода социальные институты, социальные отношения и даже социальные группы, не отказываясь от базисной схемы соотнесения, которую можно сформулировать следующим образом: что означает все это для нас, научных наблюдателей? Мы можем разработать и применить с этой целью рафинированную систему абстракций, намеренно устраняющую из социального мира действующее лицо со всеми его субъективными точками зрения, и можем даже сделать это, не входя в конфликт с переживаниями, которые сами черпаем из социаль-

ной реальности. Мастера этого метода — а их много в любой области социальных исследований — всегда будут сопротивляться уходу с того устойчивого уровня анализа, на котором этот метод может быть принят, и, следовательно, будут соответствующим образом ограничивать круг изучаемых проблем.

Все это не отменяет того факта, что данный тип социальной науки не занимается прямо и непосредственно социальным жизненным миром, общим для всех нас, а имеет дело с искусно и удобно отобранными идеализациями и формализациями социального мира, не противоречащими его фактам. И все это не уменьшает настоятельной необходимости обращения к субъективной точке зрения на других уровнях абстракции, когда исходная проблема, подлежащая рассмотрению, претерпевает модификацию. Но тогда — и это очень важно — обращение к субъективной точке зрения всегда *может* быть осуществлено и должно быть осуществлено. Поскольку социальный мир, с какой бы стороны мы его ни рассматривали, всегда остается чрезвычайно сложным космосом человеческой деятельности, постольку мы всегда можем возвратиться к «забытому человеку» социальных наук, т.е. действующему лицу социального мира, чьи дела и чувства составляют фундамент всей этой системы. В таком случае мы будем пытаться понять его в этом поступке и мироощущении и выяснить, какое состояние сознания побудило его принять те или иные специфические установки по отношению к его социальной среде.

Тогда ответ на вопрос: «Что означает этот социальный мир для меня, наблюдателя?», — будет требовать в качестве необходимого условия ответа на другие вопросы: «Что означает этот социальный мир для наблюдаемого действующего, и какой смысл он вкладывал в свои действия в этом мире?» Сформулировав таким образом стоящие перед нами вопросы, мы перестаем наивно принимать социальный мир и его текущие идеализации и формализации как нечто заранее готовое и самоочевидное и начинаем изучать сам процесс идеализации и формализации, генезис того значения, коим обладают социальные феномены для нас и для действующих лиц, и тот механизм деятельности, благодаря которому люди понимают друг друга и самих себя. Мы всегда можем, а иногда даже и должны действовать подобным образом.

Возможность изучения социального мира с разных точек зрения раскрывает фундаментальную значимость формулы профессора Знанецкого (согласно которой все социальные фе-

номены могут быть описаны в любой из следующих четырех схем соотнесения: социальная личность; социальный акт; социальная группа; социальные отношения). Каждый социальный феномен можно изучать в соотнесении с социальными отношениями или социальными группами (позволим себе добавить сюда социальные институты), но столь же правомерным будет и их изучение с точки зрения социального акта или социальной личности. Первая группа схем соотнесения объективна; такого рода схемы будут полезны лишь в применении к проблемам, относящимся к сфере объективных феноменов, для объяснения которых разработаны особые идеализации и формализации, и, разумеется, лишь при условии, что они не будут содержать в себе какого-нибудь элемента или нескольких элементов, не совместимых с другими схемами соотнесения (субъективными) и с нашим обыденным переживанием социального мира в целом. *Mutatis mutandis*, этот тезис в такой же степени относится и к субъективным схемам соотнесения<sup>3</sup>.

Иначе говоря, решение научного наблюдателя изучать социальный мир в объективной или субъективной схеме соотнесения сразу же очерчивает сектор социального мира (или, по крайней мере, аспект такого сектора), который можно изучать в раз и навсегда выбранной схеме соотнесения. Поэтому в методологии социальных наук должен быть принят следующий основополагающий постулат: выберите схему соотнесения, адекватную той проблеме, которая вас интересует; рассмотрите ее пределы и возможности; совместите и согласуйте друг с другом содержащиеся в ней термины; и, приняв эту схему, придерживайтесь ее до конца! С другой стороны, если конкретные детали выбранной вами проблемы приводят вас в процессе работы к принятию других схем соотнесения и интерпретации, не забывайте о том, что с изменением схемы неизбежно происходит сдвиг значений всех терминов, включенных в использованную вами ранее схему соотнесения. Чтобы сохранить последовательность в своих рассуждениях, вам необходимо следить за тем, чтобы «подтекст» всех терминов и понятий, которыми вы пользуетесь, оставался одним и тем же!

Это и есть реальный смысл столь часто неправильно понимаемого постулата «чистоты метода». Следовать ему труднее, чем кажется. Большинство ошибок в социальных науках можно свести к смешению субъективной и объективной точек зрения, возникающему незаметно для самого ученого, когда он в процессе научного исследования переходит с одного уровня на

другой. Таковы опасности, вторгающиеся в конкретную работу обществоведов, при смешении субъективной и объективной точек зрения. Что касается теории действия, то в ней необходимо в полной мере придерживаться субъективной точки зрения, ибо, как только мы отходим от нее, эта теория лишается своих фундаментальных оснований, а именно, своей соотнесенности с социальным миром повседневной жизни и повседневного опыта. Последовательное сохранение субъективной точки зрения является единственной, но достаточной гарантией от подмены мира социальной реальности несуществующим вымышленным миром, сконструированным научным наблюдателем.

Дабы внести ясность в этот вопрос, забудем на мгновение, что мы социальные ученые, наблюдающие социальный мир отстраненным и незаинтересованным разумом. Давайте посмотрим, как каждый из нас интерпретирует общий для всех нас социальный мир, в котором он живет и действует как человек среди других людей, мир, который он воспринимает как поле своих возможных действий и ориентаций, выстроенное вокруг его персоны в соответствии с ее особой системой планов и вытекающих из них релевантностей, памятуя одновременно о том, что тот же социальный мир является полем возможных действия для других людей и, с их точки зрения, организуется вокруг них аналогичным образом.

Этот мир всегда изначально дан мне как мир организованный. Я, так сказать, родился в этом организованном социальном мире и в нем вырос. Благодаря воспитанию и обучению, всевозможного рода переживаниям и опытам я обретаю некоторое смутно прорисовывающееся знание этого мира и его институтов. Прежде всего, я испытываю интерес к объектам этого мира, поскольку они определяют мою ориентацию, помогают или мешают осуществлению моих планов, являются элементом моей ситуации, которую я должен либо принять, либо изменить, становятся для меня источником счастья или несчастья — одним словом, поскольку они что-то для меня значат. Значимость тех или иных объектов для меня предполагает, что я не довольствуюсь чистым знанием об их существовании; я должен их понять, а значит, должен быть способен истолковать их как возможные релевантные элементы для тех возможных действий или ответных действий, которые я мог бы совершить в рамках осуществления моих жизненных планов.

Однако эта ориентация, обретаемая благодаря пониманию, с самого начала формируется в сотрудничестве с другими

людьми: этот мир имеет значение не только для меня, но также для тебя, его и любого другого. Мое переживание мира подтверждается и корректируется опытом других, с которыми я взаимно связан общим знанием, общей работой и общим страданием. Мир, интерпретируемый как возможное поле действия для всех нас, — вот первый и самый элементарный принцип организации моего знания внешнего мира в целом. Уже потом я провожу различие между (с одной стороны) природными вещами, которые можно определить как вещи, существенно данные мне, тебе и любому другому такими, каковы они есть, независимо от всякого человеческого вмешательства, и (с другой стороны) социальными вещами, которые возможно понять лишь как продукты человеческой деятельности — моей собственной или других людей (термин «вещь», используемый в обоих случаях в самом широком смысле, охватывает не только телесные, но и «идеальные» — мыслительные — объекты).

В отношении природных вещей мое «понимание» ограничивается схватыванием их существования, изменчивости, развития — поскольку все эти элементы совместимы со всеми моими переживаниями и переживаниями других в пределах природного мира в целом, а также базисными допущениями относительно устройства этого мира, которые все мы принимаем по общему согласию. В этих пределах все мы способны к предсказанию (пусть даже и всего лишь вероятностному). Вот есть некая вещь: по моему мнению и по мнению каждого из нас, дикая яблоня. Это значит, что весной она расцветет, летом покроется листвой, осенью принесет плоды, а зимой будет стоять голой. Если мы хотим лучше оглядеть окрестности, мы можем взобраться на ее вершину; если летом хотим отдохнуть и расслабиться, можем укрыться в ее тени; если осенью чувствуем голод, можем отведать ее плодов. Все эти возможности не зависят от человеческого посредничества; круговорот событий в природе происходит без нашего вмешательства<sup>4</sup>.

При желании я могу назвать это организованное знание природных фактов их «пониманием», и против этого нечего возразить. Однако, при употреблении в таком широком смысле, термин «понимание» означает не более чем сводимость известных и проверенных фактов к другим известным и проверенным фактам. Если я с целью узнать, что стоит на самом деле за вышеупомянутым циклом вегетативной жизни, обращаюсь за консультацией к эксперту в области физиологии растений, он сошлется на химию хлорофилла или морфологичес-

кое строение клеток; короче говоря, он «объяснит» факты, сведя их к другим фактам, обладающим большей общностью и проверенным в более широкой области исследований.

Совершенно иного рода «понимание» свойственно вещам социальным (этот термин включает, наряду с прочим, человеческие поступки). В этом случае недостаточно соотнести рассматриваемый факт с другими фактами или вещами. Я не могу понять социальную вещь, не сведя ее к человеческой деятельности, которая ее сотворила, и не соотнеся далее эту человеческую деятельность с теми мотивами, из которых она исходит. Я не понимаю орудие труда, не зная той цели, для которой оно было создано, не понимаю знак или символ, не зная, обозначениями чего они являются, не понимаю институт, если мне не известны его задачи, и не понимаю произведения искусства, если я не осведомлен о тех замыслах, которые художник попытался в нем воплотить.

[Автор полагает, что только теория мотивов сможет углубить анализ действия, разумеется, при условии, что мы будем строго и неукоснительно придерживаться субъективной точки зрения. Он уже попытался схематично изложить такую теорию в другом месте<sup>5</sup> и надеется, что ему будет позволено повторить здесь некоторые основные ее положения.

Отправной точкой для него было разграничение действия и поведения. Отличительной особенностью действия является то, что оно предопределено предшествующим ему во времени проектом. Следовательно, действие — это поведение, протекающее в соответствии со спроектированным планом; проект есть не что иное, как само действие, воспринятое и подкрепленное волевым решением в будущем совершенном времени. Таким образом, проект есть первичное и фундаментальное значение действия. Однако это слишком упрощенная формулировка, и ее можно использовать лишь в качестве первого подступа к проблеме. Значение, придаваемое опыту, меняется в зависимости от целостной установки, принимаемой индивидом в момент рефлексии. Когда действие совершено, его первоначальное значение, данное в проекте, модифицируется в свете того, что было реально сделано, и, стало быть, оно открыто для бесконечного множества рефлексий, которые могут приписать ему то или иное значение в прошедшем времени.

Простейшим смысловым комплексом, в терминах которого действие интерпретируется действующим лицом, являются его мотивы. Однако термин этот отличается двусмысленностью и

включает в себя две разные категории, которые следует четко различать: мотив-для (in-order-to motive) и мотив потому-что (because motive)<sup>6</sup>. Первый соотносится с будущим и тождествен объекту, или цели, для осуществления которой само действие является средством: это «*terminus ad quem*». Второй соотносится с прошлым и может быть назван поводом, или причиной действия: это «*terminus a quo*». Таким образом, действие определяется проектом, заключающим в себе мотив для-того-чтобы. Проект есть интенциональный акт, представленный в воображении в качестве уже совершенного; мотив для-того-чтобы — это будущее положение дел, которое должно быть осуществлено спроектированным действием; а сам проект определяется мотивом потому-что. Смысловые комплексы, которые конституируют, соответственно, мотив для-того-чтобы и мотив потому-что, отличаются друг от друга тем, что первый является неотъемлемой частью самого действия, тогда как второй требует особого акта рефлексии в давнопрошедшем времени, который будет осуществляться действующим только тогда, когда у него будут для этого достаточные прагматические основания.

Необходимо добавить, что ни требования мотивов-для, ни требования мотивов потому-что не выбираются действующим, делающим свое дело, произвольно. Напротив, они организуются в большие субъективные системы. Мотивы-для встроены в субъективные системы планирования: жизненный план, трудовые планы и планы проведения досуга, планы на «следующий раз», распорядок дел на сегодня, ближайшие неотложные дела и т. д. Мотивы потому-что группируются в системы, правомерно трактуемые в американской литературе (У. Джемс, Дж.Г. Мид, Знанецкий, Олпорт, Парсонс) под рубрикой (социальной) личности. Многообразные переживания человеческого Я своих прошлых базисных установок, кристаллизованных в форме принципов, максим, привычек, вкусов, аффектов и т. д., являются элементами для построения систем, которые могут быть персонифицированы. Последнее представляет собой очень сложную проблему, требующую самого серьезного размышления.]

Прежде всего, я не могу понять акты других людей, не зная стоящих за ними мотивов-для или потому-что. Разумеется, существует много степеней понимания. Я не должен (и более того, не могу) схватывать мотивы других людей во всех их тонкостях, со всеми присущими им горизонтами индивидуальных жизненных планов, фоном индивидуальных переживаний, от-

сылками к той уникальной ситуации, которая их предопределила. Как мы уже ранее сказали, такое идеальное понимание предполагало бы полную тождественность моего потока мышления потоку мышления альтер эго, а это означало бы тождество наших Я. А следовательно, достаточно того, что я могу свести поступок другого к его типичным мотивам, включая сюда и их соотношенность с типичными ситуациями, типичными целями, типичными средствами и т. д.

С другой стороны, существуют также различные степени моего знания самого действующего, т. е. различные степени интимности и анонимности. Я могу редуцировать продукт человеческой деятельности к активности альтер-эго, с которым я разделяю настоящее время и наличное пространство, и при этом может оказаться, что этот другой индивид — либо мой близкий друг, либо пассажир, с которым я встретился впервые в жизни и не встречусь больше никогда. Мне даже не обязательно знать действующего лично, чтобы иметь доступ к его мотивам. Например, я могу понять акты зарубежного государственного деятеля и судить о его мотивах, вообще ни разу с ним не встречавшись и даже никогда не видев его фотографического портрета. То же самое касается индивидов, живших задолго до моего появления на свет; я могу понять поступки и мотивы как Цезаря, так и пещерного человека, не оставившего никаких свидетельств своего существования, кроме кремня, выставленного на обозрение в музее. Нет даже необходимости сводить человеческие акты к индивидуальному действующему лицу, более или менее хорошо известному. Чтобы их понять, достаточно найти типичные мотивы типичных действующих лиц, объясняющие данный поступок как типичный, проистекающий из типичной ситуации. Есть определенное единообразие в делах и мотивах священников, солдат, прислуги, фермеров, проявляющееся повсюду и во все времена. Более того, существуют действия настолько общего типа, что будет вполне достаточно свести их к типичным мотивам «любого», чтобы сделать их понятными.

Все это нужно тщательно исследовать, ибо это существенная часть теории социального действия<sup>7</sup>. Суммируя вышесказанное, мы приходим к выводу, что социальные предметы поддаются пониманию лишь тогда, когда они могут быть сведены к человеческой деятельности; а человеческую деятельность делает доступной для понимания лишь демонстрация ее мотивов-для и потому-что. Более глубокие основания этого

кроются в том, что я — поскольку я наивно живу в социальном мире — способен понять акты других людей, только если смогу вообразить, что и я сам, находясь в той же самой ситуации, выполнил бы аналогичные действия, руководствуясь теми же самыми мотивами потому-что или будучи ориентирован теми же самыми мотивами для-того-чтобы (все эти термины понимаются здесь в ограниченном смысле «типичной» аналогии, «типичного» тождества, как было объяснено выше).

Истинность этого утверждения можно доказать с помощью анализа социального действия, в более точном смысле этого термина, а именно: такого действия, которое соотносится с установками и действиями других людей и ориентировано на них в своем протекании<sup>8</sup>. В этом исследовании мы до сих пор занимались только действием как таковым, не углубляясь в анализ той модификации, которую претерпевает общая схема при введении в нее в подлинном смысле слова социальных элементов: взаимного соотнесения и интересубъективного приспособления. Следовательно, мы наблюдали установку обособленного действующего лица, не проводя различия между тем, занят ли он манипуляцией каким-то орудием или же действует совместно с другими и для других, будучи мотивированным ими и мотивируя их.

Эта тема очень сложна для анализа, и нам придется ограничиться наброском нескольких ее основных штрихов. Можно доказать, что все социальные отношения, как они понимаются мною, человеческим существом, наивно живущим в социальном мире, сосредоточенном вокруг меня, имеют прототип в социальном отношении, связывающем меня с индивидуальным альтер эго, с которым я разделяю общее пространство и время. При этом мое социальное действие ориентировано не только на физическое существование этого альтер эго, но и на его действие, которое, как я ожидаю, будет спровоцировано моим. Следовательно, я могу сказать, что реакция другого является мотивом-для моего поступка. Прототипом всякой социальной связи является интересубъективное сочленение мотивов. Если я, проектируя свое действие, представляю в воображении, что вы поймете мой акт и что это понимание побудит вас, со своей стороны, определенным образом отреагировать, то я предвосхищаю, что мотивы для-того-чтобы моего действия станут мотивами потому-что вашей реакции, и наоборот.

Возьмем простейший пример. Я задаю вам вопрос. Мотивом-для моего действия является не только ожидание того, что

вы поймете мой вопрос, но и ожидание получить ваш ответ; или, говоря точнее, я рассчитываю, что вы *ответите*, оставляя нерешенным, каким именно будет содержание вашего ответа. *Modo futuri exacti* я, проектируя свое действие, предвосхищаю, что вы так или иначе ответите на заданный мною вопрос, а это значит, что я полагаю наличие очевидного шанса на то, что понимание моего вопроса станет мотивом потому-что для вашего ответа, которого я ожидаю. Итак, мы можем сказать, что вопрос является мотивом потому-что для ответа, а ответ является мотивом-для вопроса. Эта взаимосвязь между моими и вашими мотивами является для меня хорошо проверенным опытом, хотя, возможно, я никогда и не обладал эксплицитным знанием задействованного здесь сложного внутреннего механизма. Между тем, я сам несметное множество раз чувствовал побуждение отреагировать на акт другого, который я истолковывал как обращенный ко мне вопрос, определенным поведением, мотивом-для которого было мое ожидание того, что другой, спрашивающий, истолкует мое поведение как ответ. Помимо обладания таким опытом, я знаю, что мне часто удавалось успешно спровоцировать ответ другого своим актом, который называется спрашиванием, и т.д. Таким образом, я чувствую, что у меня есть все шансы получить ваш ответ, как только я задаю вопрос.

Этот краткий и неполный анализ довольно-таки тривиального примера показывает огромные сложности, таящиеся в проблеме социального действия, но также и подает некоторые идеи относительно того, в каком направлении следует расширить исследовательское поле теории действия, дабы она была достойна своего названия. Здесь мы не намерены далее углубляться в эту тему, однако нам необходимо извлечь из выше-приведенного примера кое-какие выводы, касающиеся той роли, которую играет субъективная точка зрения для действующего в социальном мире.

Социальный мир, в котором я живу, будучи связанным многочисленными отношениями с другими людьми, является для меня объектом, который я интерпретирую как значимый. Он наделен для меня смыслом, но точно так же я уверен в том, что он наделен смыслом и для других людей тоже. Далее я предполагаю, что мои действия, ориентированные на других, будут пониматься ими аналогично тому, как я понимаю поступки других, ориентированные на меня. Более или менее наивно я предполагаю существование общей схемы соотнесения для действий моих и других людей. Более всего меня ин-

тересуют не внешне выражающееся поведение других, не выполняемые ими жесты и телесные движения, а их намерения. А это означает, что прежде всего меня интересуют мотивы-для, ради которых они действуют, и мотивы потому-что, на которых основаны их действия.

Будучи убежденным в том, что своим действием они хотят что-то выразить и что их акт занимает особое положение в общей рамке соотнесения, я пытаюсь уловить значение, которым обладает соответствующий поступок, в особенности то значение, которым он наделен для моих со-актеров, действующих в социальном мире. И до тех пор, пока это не опровергнуто, я предполагаю, что то значение, которым это действие обладает для них, соответствует тому значению, которое оно имеет для меня. Поскольку я вынужден ориентировать свои социальные действия на мотивы потому-что ориентированных на меня социальных актов других, я всегда должен определять их мотивы-для и распутывать ткань социального взаимоотношения посредством интерпретации поступков других людей с субъективной точки зрения действующего. Между установкой человека, живущего в гуще разнообразных взаимоотношений, заинтересованным участником которых он является, и установкой чистого наблюдателя, не заинтересованного в исходе той социальной ситуации, в которой он не принимает личного участия и которую он изучает своим отстраненным разумом, — большая разница.

Есть еще и другая причина, по которой человек, наивно живущий среди других людей в социальном мире, прежде всего пытается выявить мотивы тех, с кем действует совместно. Мотивы никогда не бывают элементами обособленными; они группируются в большие и устойчивые иерархические системы. Поняв достаточное число элементов такого рода системы, я обладаю всеми шансами заполнить недостающие звенья этой системы корректными предположениями. Опираясь в своих догадках на внутреннюю логическую структуру такой системы мотивов, я могу сделать — с большой вероятностью того, что они окажутся правильными, — определенные выводы, касающиеся тех ее частей, которые остаются от меня сокрытыми. Но все это, разумеется, предполагает интерпретацию с субъективной точки зрения, то есть ответ на вопрос «что все это значит для действующего?»

Эта практическая установка принимается в социальном мире всеми нами, поскольку в нем мы не просто наблюдаем си-

туацию, никак нас не затрагивающую, а являемся действующими и реагирующими агентами. Именно по этой причине субъективная точка зрения должна быть принята также и социальными науками. Только этот методологический принцип даст нам необходимые гарантии того, что мы имеем дело с подлинно реальным социальным жизненным миром, принадлежащим всем нам, который, даже будучи объектом теоретического исследования, остается системой взаимных социальных отношений, выстраивающихся из взаимных субъективных интерпретаций участвующих в нем действующих лиц.

Однако, даже если бы в социальных науках был принят принцип сохранения субъективной точки зрения, остается вопрос: как же все-таки возможно подойти к изучению таких субъективных феноменов научно, то есть с объективной концептуальной схемой? Прежде всего, огромные сложности кроются в той специфической установке, которую принимает по отношению к социальному миру научный наблюдатель. Как ученый — в отличие от человека среди других людей, каковым он тоже является, — он не является участником социальных взаимоотношений. Он не участвует в живом потоке взаимного тестирования мотивов-для его поступков реакциями других и мотивов-для их актов его реакциями. Строго говоря, выступая в качестве чистого наблюдателя социального мира, социальный ученый не является действующим лицом. В той мере, в какой он «занимается научной деятельностью» (публикуя статьи, обсуждая проблемы с другими, занимаясь преподаванием), его деятельность протекает *внутри* социального мира: занимаясь наукой, он действует как человек среди других людей, но в данном случае у него уже отсутствует специфическая установка научного наблюдателя. Эта установка характеризуется тем, что реализуется в полном обособлении от мира. Чтобы стать социальным ученым, наблюдатель должен заставить свой разум покинуть социальный мир, отбросить какой бы то ни было практический интерес к нему и ограничиться в своих мотивах-для честным описанием и объяснением того социального мира, который он наблюдает.

Но как должна выполняться эта работа? Не имея возможности напрямую общаться с действующими в социальном мире, ученый лишен возможности непосредственно проверить собранные им данные о них посредством обращения к тем многообразным источникам информации, которые открыты для него в социальном мире. Сам он, будучи человеком среди

других людей, разумеется, обладает опытом непосредственного переживания социального мира. В этом своем качестве он может рассылать опросники, выслушивать свидетелей, проводить тесты. Из этих и других источников он черпает данные, которые впоследствии использует, возвратившись в уединение теоретика. Однако как таковая его теоретическая задача начинается с построения концептуальной схемы, в рамках которой собранная им информация о социальном мире может быть классифицирована.

Одной из наиболее примечательных особенностей современной социальной науки является описание той процедуры, которой пользуются социальные ученые при построении концептуальной схемы, и великой заслугой [Дюркгейма, Парето, Маршалла, Веблена и], прежде всего, Макса Вебера является разработка этого метода во всей его полноте и ясности. Этот метод состоит в замене человеческих существ, которых социальный ученый наблюдает как актер на социальной сцене, сотворенными им самим марионетками, или, говоря иначе, в конструировании идеальных типов действующих лиц. Делается это следующим образом.

Ученый наблюдает определенные события в социальном мире как события, порожденные человеческой деятельностью, и начинает с установления типа таких событий. Потом он соотносит с этими типичными действиями типичные мотивы потому-что и для-того-чтобы, присутствующие в разуме воображаемого действующего лица, которые он полагает неизменными. Таким образом он конструирует идеальный тип личности, то есть определенную модель действующего лица, которого он представляет в воображении как наделенного сознанием. Однако содержание этого сознания ограничивается лишь теми элементами, которые необходимы для осуществления типичных действий, являющихся объектом рассмотрения. Эти элементы оно содержит в полном объеме, но помимо них не содержит ничего. В него вкладываются неизменные мотивы-для, соответствующие тем целям, которые реализуются в социальном мире как *штамп*; кроме того, ему приписываются постоянные мотивы потому-что, структурированные таким образом, чтобы они могли служить основой для системы заданных постоянных мотивов-для; и наконец, в идеальный тип вносятся такие сегменты жизненных планов и такие запасы опыта, которые представляются необходимыми для воображаемых горизонтов и фоновых знаний действующего-марионетки. Эти

сконструированные типы социальный ученый помещает в обстановку, содержащую все элементы ситуации в социальном мире, релевантные для выполнения исследуемого типичного действия. Кроме того, он присоединяет к сконструированному идеальному типу действующего другие личностные идеальные типы, наделенные такими мотивами, которые могли бы спровоцировать типичные реакции на типичное действие первого личностного идеального типа.

Таким образом, ученый получает модель социального мира, или, лучше сказать, его реконструкцию. Она содержит в себе все релевантные элементы социального события, отобранного ученым для последующего изучения в качестве типического. И эта модель в полной мере согласуется с постулатом субъективной точки зрения. Ибо с самого начала марионеточный тип представляется как наделенный тем же самым специфическим знанием ситуации — в том числе средств и условий, — которым обладало бы в реальном социальном мире реальное действующее лицо; с самого начала субъективные мотивы реального действующего, выполняющего типичное действие, имплантируются в качестве постоянных элементов в воображаемое сознание идеально-типического действующего; и с самого начала идеальному типу действующего лица предназначено играть ту роль, которую должен был бы принять для выполнения типичного действия действующий в социальном мире. А поскольку данный тип сконструирован таким образом, чтобы выполнять только типичные действия, то в формировании единичных действий будут сочетаться объективные и субъективные элементы.

С другой стороны, формирование типа, выбор типического события, а также элементы, рассматриваемые в качестве типических, — все это концептуальные термины, которые поддаются объективному обсуждению и являются открытыми для критики и верификации. Они не образуются социальными учеными по собственному произволу, вне всякого контроля и в стороне от каких бы то ни было ограничений; законы их образования очень строги, а диапазон произвольности социального ученого гораздо уже, чем то может показаться на первый взгляд. В рамках данного исследования мы не имеем возможности обратиться к этой теме. Однако коротко изложим то, что уже было сказано по этому поводу в другом месте<sup>9</sup>.

1) *Постулат релевантности.* Формирование идеальных типов должно согласовываться с принципом релевантности, ко-

торый означает, что проблема, однажды выбранная социальным ученым, создает схему соотнесения и устанавливает те пределы, в рамках которых впоследствии могут формироваться релевантные идеальные типы.

2) *Постулат адекватности*. Его можно сформулировать следующим образом: каждый термин, используемый в научной системе, соотносящийся с человеческим действием, должен конструироваться таким образом, чтобы человеческое действие, выполняемое индивидуальным действующим лицом в жизненном мире тем способом, который отражен в типичной конструкции, был резонным и понятным для самого действующего, равно как и для любого его собрата.

3) *Постулат логической согласованности*. Система идеальных типов должна полностью соответствовать принципам формальной логики.

4) *Постулат совместимости*. Система идеальных типов должна содержать только научно доказуемые допущения, полностью совместимые со всем корпусом нашего научного знания.

Эти постулаты дают нам необходимые гарантии того, что социальные науки и в самом деле будут заниматься реальным социальным миром, то есть единственным и единым жизненным миром, общим для всех нас, а не отчужденным миром фантазии, существующим независимо от этого повседневного жизненного мира и никак с ним не связанным. Дальнейшее углубление в детали метода типизации представляется мне одной из важнейших задач, стоящих перед теорией действия.

## Примечания

<sup>1</sup> John B. Watson. Psychology, from the Standpoint of a Behaviorist. 3rd ed. Philadelphia, 1929. P. 38 ff.

<sup>2</sup> К так называемой бихевиористской позиции великого философа и социолога Дж.Г. Мида предыдущие замечания применимы лишь частично (Mead G.H., Mind, Self and Society. См., например, P. 2 ff).

<sup>3</sup> Будем максимально точны: на том уровне, который мы только что назвали объективными схемами, дихотомия субъективных и объективных точек зрения даже не обнаруживается. Вообще говоря, она появляется вместе с тем базисным допущением, что социальный мир *может* быть соотнесен с действиями человеческих индивидов и с тем значением, которое эти индивиды придают своему социальному жизненному миру. Но именно это базисное допущение, которое только и делает проблему субъективности доступной для исследования в социальных науках, присуще современной социологии.

<sup>4</sup> Разумеется, интерпретация природных вещей как продуктов деятельности другого разума (хотя бы и не человеческого) всегда остается открытой возможностью. В таком случае жизнь дерева будет результатом деятельности демона, дриады или кого-то другого.

<sup>5</sup> Schutz A. Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Wien, 1932; 2-е изд. — 1960. S. 93–105.

<sup>6</sup> Некоторые английские термины я почерпнул из одного замечательного исследования, опубликованного по поводу моей теории А. Стоньером и Карлом Боде. См.: Stonier A. and Bode, Karl. A New Approach to the Methodology of the Social Sciences // *Economica* (November 1937). P. 406–424.

<sup>7</sup> Такая попытка была предпринята автором данной статьи в книге: *Der sinnhafte Aufbau...* (цитировалась выше, см. прим. 5).

<sup>8</sup> Weber Max. Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen, 1922; новое изд. — 1956. Фрагменты этой работы в английском переводе представлены в: Gerth H.H. and Wright Mills C., eds., From Max Weber: Essays in Sociology. N.Y., 1946; другие фрагменты переведены Толкоттом Парсонсом: The Theory of Social and Economic Organization. N.Y., 1947.

<sup>9</sup> Некоторые принципы формирования идеальных типов я схематично сформулировал в лекции, прочитанной в Faculty Club при Гарвардском университете и озаглавленной «Проблема рациональности социального мира». (Эта лекция была позже опубликована под тем же названием: The Problem of Rationality in the Social World // *Economica*. May 1943.)



# Выбор между проектами действия\*

## Понятие действия

Нашей задачей является анализ процесса, посредством которого действующее лицо (*actor*) в повседневной жизни, рассмотрев несколько возможных способов действия, определяет свое будущее поведение (*conduct*). Термин «действие», как он употребляется в этой статье, будет означать человеческое поведение (*conduct*) как длящийся процесс, который продумывается действующим (*actor*) заранее, т.е. базируется на заранее составленном проекте. Термин «поступок (*act*)» будет обозначать результат этого длящегося процесса, т.е. совершенное действие. Действие может быть скрытым — например, попытка мысленно решить научную проблему — или явным, встроенным во внешний мир. Однако не всякое спроектированное действие одновременно является целенаправленным. Чтобы замысел (*forethought*) преобразовался в цель, а проект — в задачу, к ним должно присоединиться намерение осуществить проект, вызвать к жизни спроектированное положение дел. Это различие важно, когда идет речь о скрытых действиях. Мое фантазирование может быть спроектированным, а следовательно, может быть действием в определенном нами смысле. Однако до тех пор, пока к нему не присоединится, по выражению У. Джемса, волевое «приказание», преобразующее мой проект в цель, оно остается просто фантазированием, и не более того. Если скрытое действие есть более чем «просто фантазирование», а именно, является целенаправленным, мы для удобства будем называть его «исполнением». В случае явного действия, которое встраивается во внешний мир и изменяет его, такое различие не обязательно. Явное действие всегда одновременно и спроектированное, и целенаправленное. Оно является спроектированным по определению, ибо в против-

\* Schutz A. Choosing Among Projects of Action // Philosophy and Phenomenological Research. 1951. Vol. XII. № 2. P. 161–184. Пер. В.Г. Николаева.

ном случае было бы просто поведением; поскольку же оно стало явным, т.е. манифестированным во внешнем мире, ему должно было предшествовать волевое приказание, переводящее проект в цель, внутренняя команда «Приступим!»

Действие может происходить — целенаправленно или нет — по поручению или по упущению. Особого внимания, однако, заслуживает случай целенаправленного уклонения от действия. Я могу вызвать будущее положение дел невмешательством. Такое спроектированное воздержание от действия само по себе может рассматриваться как действие и даже как исполнение в том смысле, в каком мы его определили. Если я проектирую действие, а затем отбрасываю этот проект — скажем, потому что я про него забыл, — никакого исполнения не происходит. Но если я колеблюсь между осуществлением и неосуществлением проекта и принимаю решение в пользу последнего, мое целенаправленное уклонение от действия становится исполнением. Даже мое обдумывание того, осуществлять спроектированное действие или нет, я могу истолковать как выбор между двумя проектами, двумя предвосхищенными положениями дел, одно из которых вызывается спроектированным действием, а другое — уклонением от него. Размышление хирурга о том, делать пациенту операцию или нет, или размышление бизнесмена о том, продавать товар или нет при данных обстоятельствах, служат примерами такого рода ситуаций.

## Временная структура проекта

Согласно плодотворной формулировке Дьюи, обдумывание — это «драматическая репетиция в воображении различных конкурирующих друг с другом возможных траекторий действия... Это экспериментальное изготовление различных комбинаций отобранных элементов привычек и импульсов с целью увидеть, каким будет вероятное результирующее действие, если к нему приступить»<sup>1</sup>. Это определение во многих отношениях попадает в точку. Всякое проектирование состоит в предвосхищении будущего поведения с помощью фантазирования. Необходимо лишь выяснить, предвосхищается ли в проектирующей деятельности фантазирования будущий длящийся процесс действия в его постепенном развертывании или результат этого будущего действия, поступок, воображенный в качестве уже совершенного. Легко увидеть, что именно последний — т.е. поступок, который

будет совершен, — является отправной точкой всякого нашего проектирования. Я должен зрительно представить положение дел, которое должно быть вызвано моим будущим действием, прежде, чем буду иметь возможность расписать отдельные шаги моего будущего действия, результатом которого станет это положение дел. Метафорически говоря, я должен иметь некоторое представление о здании, которое необходимо воздвигнуть, прежде чем смогу нарисовать его чертежи. Чтобы спроектировать мое будущее действие в его развертывании, я должен перенести себя в фантазии в будущее время, когда действие *будет уже совершено*, когда результирующий поступок *будет уже материализован*. Только тогда я смогу реконструировать отдельные шаги, которые произведут этот будущий поступок. Таким образом, в проекте, согласно нашей терминологии, предвосхищается не будущее действие, а будущий поступок, и предвосхищается он в будущем совершенном времени, *modo futuri exacti*. Из этой временной перспективы, присущей проекту, вытекают весьма важные следствия. Во-первых, проектируя свой предстоящий акт в будущем совершенном времени, я опираюсь на мое знание ранее совершенных поступков, типически подобных предписываемому, и на мое знание типически релевантных черт ситуации, в которой это проектируемое действие будет происходить, в т.ч. моей личной биографически детерминированной ситуации. Однако это знание является знанием, наличным для меня сейчас, во время проектирования, и неизбежно должно отличаться от того, которым я буду обладать тогда, когда поступок, сейчас еще только проектируемый, будет совершен. К тому времени я стану старше и, даже если ничто более не изменится, мое знание, по крайней мере, обогатится переживаниями, которые я получу в ходе осуществления моего проекта. Иначе говоря, проектирование, как и любое предвосхищение, несет с собой свои незаполненные горизонты, которые будут наполняться лишь по мере осуществления предвосхищенного события. Это конституирует внутреннюю неопределенность всех форм проектирования.

Во-вторых, особая временная перспектива проекта объясняет связь проекта с различными формами мотивов.

### Мотив «для-того-чтобы» и мотив «потому-что»

Часто говорят, что действия в том смысле, в каком мы их определили, — это мотивированное поведение. Между тем, тер-

мин «мотив» допускает двойное толкование и включает два разных набора понятий, которые следует различать. Мы можем сказать, что мотивом убийцы было завладеть деньгами потерпевшего. Здесь мотив означает некое положение дел, цель, ради осуществления которой действие было предпринято. Такого рода мотив мы будем называть «мотивом-для». С точки зрения действующего, этот класс мотивов соотносится с его будущим. В рамках предложенной здесь терминологии можно сказать, что спроектированный поступок, т.е. заранее представленное в фантазии положение дел, которое должно быть вызвано будущим действием, конституирует мотив для-того-чтобы последнего. Но что мотивируется таким мотивом для-того-чтобы? Это, безусловно, не само проектирование. Я могу спроектировать в фантазии совершение убийства без дальнейшего намерения осуществить этот проект. Следовательно, в модусе «для-того-чтобы» мотивируется «волевое приказание», решение: «Ну что ж, приступим!», — преобразующее внутреннюю деятельность фантазирования в исполнение, или действие, встраивающееся во внешний мир.

В противоположность классу мотивов-для, следует выделить еще один класс мотивов, которые мы предлагаем назвать мотивами «потому-что». Убийца был мотивирован совершить свои поступки, потому что вырос в такой-то и такой-то среде, потому что, как показывает психоанализ, в младенческом возрасте у него были такие-то и такие-то переживания, и т.д. Таким образом, с точки зрения действующего лица, мотив потому-что соотносится с его прошлыми переживаниями. Эти переживания и заставили его поступить так, как он поступил. В действии в модусе «потому-что» мотивируется сам проект действия. Чтобы удовлетворить свою потребность в деньгах, действующий имеет возможность добыть их несколькими другими способами, кроме как убив человека; скажем, он может их заработать, обретя хорошо оплачиваемую профессию. Его идея достичь этой цели убийством человека была определена («причинно обусловлена») его личной ситуацией, или, точнее говоря, его жизненной историей, отложившейся в его личных обстоятельствах.

Разница между мотивами-для и мотивами потому-что часто ускользает от внимания в обыденном языке, который допускает возможность выражения большинства мотивов «для-того-чтобы» с помощью предложений, построенных в модусе «потому-что», хотя и не наоборот. Часто говорят, что убийца

убил свою жертву, *потому что* хотел завладеть ее деньгами. Логический анализ должен пробраться сквозь внешние одеяния языка и исследовать, каким образом становится возможным этот курьезный перевод отношений «для-того-чтобы» в предложения «потому-что».

Ответ на этот вопрос, видимо, будет двойственным, и он открывает нам дополнительные аспекты смысла, заключенного в понятии мотивов. Мотив может иметь субъективное и объективное значение. Субъективно он соотносится с переживанием действующего, живущего в своем продолжающемся процессе деятельности. Для него мотив означает то, что он актуально имеет в виду как придающее значение его продолжающемуся действию, а это всегда мотив для-того-чтобы, интенция осуществить спроектированное положение дел, достичь заранее задуманной цели. До тех пор, пока действующий живет в своем продолжающемся действии, его мотивы потому-что не попадают в его поле зрения. И только когда действие уже совершено, когда оно, согласно предложенной здесь терминологии, стало поступком, он может возвратиться к своему прошлому действию как наблюдатель самого себя и исследовать, какие обстоятельства привели его к совершению того, что он сделал. То же относится и к случаю, когда действующий схватывает в ретроспекции прошлые начальные фазы своего все еще развертывающегося действия. Кроме того, эта ретроспекция может просто предвосхищаться *modo futuri exacti*. Предвосхищая в моей проектирующей фантазии то, что я сделаю в ходе осуществления моего проекта, я могу спросить самого себя, почему мне было суждено принять именно это решение, а никакое другое. Во всех этих случаях подлинный мотив потому-что соотносится с прошлыми или будущими совершенными переживаниями. В силу самой своей временной структуры он открывает себя лишь ретроспективному взгляду. Этот «зеркальный эффект» временной проекции объясняет, с одной стороны, почему языковая форма «потому-что» может использоваться и часто используется для выражения подлинных «отношений для-того-чтобы» и, с другой стороны, почему невозможно выразить предложением в модусе «для-того-чтобы» подлинные «отношения потому-что». Используя языковую форму «для-того-чтобы», я направляю свой взор на развертывающийся процесс действия, который все еще пребывает в состоянии становления и, следовательно, является мне во временной перспективе будущего. Используя языковую форму

«потому-что» для выражения подлинного отношения «для-того-чтобы», я направляю свой взор на предшествующий проект и заключенный в нем в *modo futuri exacti* предвосхищенный акт. Однако подлинный мотив потому-что предполагает, как мы увидели, временную перспективу прошлого и соотносится с генезисом самого проектирования.

До сих пор предметом нашего анализа был субъективный аспект двух категорий мотивов с точки зрения действующего. Было показано, что мотив для-того-чтобы соотносится с установкой действующего, который живет в процессе своего развертывающегося действия. Следовательно, это по сути своей субъективная категория, и она открывается наблюдателю лишь тогда, когда он спрашивает, какое значение придает действующий своему действию. В то же время, как мы выяснили, подлинный мотив потому-что является объективной категорией, доступной для наблюдателя, который должен реконструировать из совершенного поступок — а именно, из положения дел, вызванного действием во внешнем мире, — установку действующего в отношении своего действия. Сам действующий может успешно схватить подлинные мотивы потому-что своих собственных поступков лишь постольку, поскольку он поворачивается к своему прошлому, и тем самым становится наблюдателем собственных поступков.

Смещение субъективной и объективной точек зрения, а также разных временных структур, заключенных в понятии мотивов, создало много трудностей в понимании процесса, посредством которого мы определяем наше будущее поведение. Особенно отягощена извечными метафизическими коннотациями проблема подлинных мотивов потому-что. Она отсылает нас к спору между детерминистами и индетерминистами, проблеме свободы воли и «*librum arbitrium*». Этот спор нас здесь не интересует, хотя мы и надеемся почерпнуть из трактовок, которую он получил у некоторых философов, в частности Бергсона и Лейбница, важные прозрения, имеющие отношение к нашей основной проблеме, а именно, процессу выбора между проектами и детерминации наших будущих действий. Вместе с тем, временная структура проектирования крайне для нас важна. Наш анализ показал, что оно всегда соотносится с некоторым запасом знания действующего лица, наличествующим во время проектирования, но при этом несет и свой горизонт незаполненных предвосхищений; иначе говоря, что спроектированный поступок будет развертываться типически

подобно тому, как разворачивались все типически подобные прошлые поступки, известные ему на момент проектирования. Это знание — элемент сугубо субъективный, а потому пока действующий живет в своем проектировании и действии, он чувствует себя мотивированным только спроектированным поступком в модусе «для-того-чтобы».

### Фантазирование и проектирование

Проектирование отличается от чистого фантазирования, помимо всего прочего, соотносительностью с наличным запасом знания. Если я воображаю, что стану суперменом или обрету магические способности, и мечтаю о том, что я совершу после этого, — это еще не проектирование. В чистой фантазии я не стеснен никакими ограничениями, налагаемыми реальностью. В моей власти устанавливать, что находится в моей досягаемости, и определять, что я могу. Ради собственного удовольствия я могу представить в фантазии, что будут реализованы все условия, от которых зависит достижение моей сфантазированной цели сфантазированными средствами в сфантазированной ситуации, либо какие-то из этих условий, либо никакие. В таком чистом фантазировании мои возможные шансы полностью определяются моим желанием. Это мышление в оптативном модусе.

Проектирование исполнений, или явных действий, в свою очередь, представляет собой мотивированное фантазирование — мотивированное именно предвосхищенным последующим намерением осуществить проект. Осуществимость проекта на практике есть условие всякого проектирования, могущего быть переведенным в цель. Проектирование этого рода является, стало быть, фантазированием в заданных или, лучше сказать, навязанных рамках, и навязываются они самой реальностью, в которой проектируемое действие должно будет быть осуществлено. В отличие от простого фантазирования, это мышление не в оптативном, а в потенциальном модусе. Эта потенциальность, эта возможность исполнения проекта, предполагает, например, что моим проектированием в воображении могут приниматься в расчет лишь цели и средства, которые я считаю находящимися в моей актуальной или потенциальной досягаемости; что мне не дано права в ходе моего фантазирования произвольно менять те элементы ситуации, которые выходят

за пределы моего контроля; что все шансы и риски должны быть взвешены в соответствии с моим наличным знанием возможных событий этого рода в реальном мире; короче говоря, что, согласно моему наличному знанию, проектируемое действие, *по крайней мере, как тип*, осуществимо, а его средства и цели, *по крайней мере, как тип*, оказались бы в наличии, если бы это действие происходило в прошлом. Выделенное курсивом ограничение очень важно. Совсем не обязательно, чтобы «то же самое» проектируемое действие было заранее пережито и, следовательно, узнано во всей его индивидуальной уникальности, со всеми его уникальными целями и средствами. Будь это так, мы никогда не могли бы спроектировать ничего нового. Однако в понятии проекта предполагается, что проектируемое действие, его цель и его средства остаются совместимыми и согласованными с этими типичными элементами ситуации, которые, согласно нашему опыту, наличному во время проектирования, до сих пор гарантировали если уж не успех, то, по крайней мере, практическую осуществимость *типически* подобных действий в прошлом.

### Основания практической осуществимости

Но каковы элементы ситуации, с которыми проектируемое действие должно оставаться согласованным и совместимым, чтобы быть предвосхищенным в качестве выполнимого, и чем конституируется их типичность? Не углубляясь в детальный анализ этой чрезвычайно сложной проблемы, можно очень огрубленно разграничить два набора переживаний, на которых основывается допущение практической осуществимости проектируемого действия.

#### (a) Мир, принимаемый как данность

Первый набор включает переживания действующего лица и его мнения, верования, допущения, относящиеся к миру, физическому и социальному, который он в момент своего проектирования принимает как неоспоримую данность. Этот набор переживаний до сих пор выдерживал проверку и, следовательно, без сомнения принимается как данность, хотя и данность «до последующего уведомления». Это не значит, что сами принимаемые на веру переживания, мнения и т.д. согласованы и

совместимы друг с другом. Однако присущая им несогласованность и несовместимость обнаруживается — а сами они ставятся под вопрос — только тогда, когда какое-то новое переживание оказывается неподводимым под не вызывавшую до сих пор сомнения схему соотнесения. Тем не менее, сфера мира, принимаемого как данность, даже сама не вызывая сомнения, является той областью, в которой только и становится возможным сомнение и вопрошание; и, в этом смысле, она лежит в основании всякого возможного сомнения.

Не вызывающие сомнения переживания изначально воспринимаются как типичные, т.е. несущие с собой открытые горизонты предвосхищаемых сходных переживаний. Например, не подвергаемый сомнению внешний мир изначально переживается не как аранжировка уникальных индивидуальных объектов, разбросанных в пространстве и времени, а как «горы», «деревья», «животные», «другие люди». Я мог никогда раньше не видеть то животное, которое вижу сейчас, но знаю, что это животное и, в частности, собака. Я могу резонно спросить: «Что это за собака?». Этот вопрос предполагает, что я воспринял впервые пережитый объект как собаку, проявляющую все типичные свойства и типичное поведение собаки, а, скажем, не кошки. Иначе говоря, несходство этой конкретной собаки со всеми другими типами собак, которые я знаю, выступает наружу и становится спорным уже в одном только соотнесении с тем сходством, коим она обладает с моими неоспоримыми переживаниями типичных собак.

Здесь мы не можем пуститься в детальное исследование типичности нашего допредикативного опыта, основы которого мастерски наметил Гуссерль, или анализ социальных оснований этих типов — которые являются либо социально почерпнутыми, либо социально одобренными, либо и теми и другими и передаются с помощью типизирующего посредника *par excellence*, а именно общего языка. Нам следует ограничиться указанием на то, что все знание, принимаемое на веру, имеет в высокой степени социализированную структуру, т.е., как я полагаю, принимается как данность не только *мною*, но и *нами*, «каждым» (что означает: «каждым, кто принадлежит к нам»). Эта социализированная структура придает такого рода знанию объективный и анонимный характер: оно воспринимается как не зависящее от моих личных биографических обстоятельств. Типичный и объективный характер наших не вызывающих сомнения переживаний и мнений также при-

сущ переживаниям и мнениям, которые касаются причинно-следственных связей, связей между средствами и целями и, следовательно, практической осуществимости человеческих действий (как наших собственных, так и наших собратьев) в царстве вещей, принимаемых на веру. И, исходя из этого, есть принимаемый на веру объективный шанс, что действия, типично подобные тем, которые оказывались практически осуществимыми в прошлом, будут практически осуществимы и в будущем.

Выше мы сказали, что наши переживания, представления и мнения, принимаемые на веру, могут быть несогласованными и несовместимыми друг с другом. Теперь мы должны развить это утверждение, сказав, что каждый элемент сферы, принимаемой в качестве не подлежащей сомнению данности, необходимо имеет двусмысленный характер неопределенности. Приведем, опять же, простой пример: предположим, какое-то из мнений, неоспоримо принимаемых на веру, можно бы было сформулировать в виде высказывания « $S$  есть  $p$ ». Так вот,  $S$ , принимаемое таким, каким оно называется нам дано, есть не только  $p$ , но еще и  $q$ ,  $r$  и многое другое. Пока эта взаимосвязь не ставится под вопрос, выражение « $S$  есть  $p$ » является эллиптическим в том смысле, что полностью это утверждение должно звучать так: « $S$  есть, помимо многого прочего, как то  $q$  и  $r$ , еще и  $p$ ». Иначе говоря, внутри неоспоримо данного мира суждения « $S$  есть  $p$ » и « $S$  есть  $q$ » остаются до опровержения одинаково открытыми возможностями, не противоречащими друг другу, имеющими равное право на существование и равный вес. Если в отношении элемента  $S$  мира, принимаемого как данность, я утверждаю: « $S$  есть  $p$ », — то делаю это потому, что, исходя из моей наличной цели в этот конкретный момент времени, я проявляю интерес только к  $p$ -бытию  $S$  и обхожу вниманием как нерелевантный для этой цели тот факт, что  $S$  есть также  $q$  и  $r$ . Известный принцип «*Omnis definitio est negatio*»\*, открытый Спинозой, указывает (разумеется, на ином уровне) на то же самое.

#### (б) Биографически детерминированная ситуация

Но что конституирует мою наличную цель в этот конкретный момент времени? Этот вопрос подводит нас ко второму набо-

\* «Всякое определение есть отрицание» (лат.).

ру наших переживаний, на которых основывается практическая осуществимость будущих действий. Его образуют переживания, которые я как действующий имею в момент любого проектирования в отношении моей биографически детерминированной ситуации. К этой биографически детерминированной ситуации принадлежит не только мое положение в пространстве, времени и обществе, но и мое переживание того, что некоторые из элементов мира, принимаемого как данность, мне навязываются, тогда как другие находятся либо в сфере моего контроля, либо могут быть вовлечены в сферу моего контроля и, стало быть, в принципе поддаются модификации. Например, вот эти вещи находятся в моей досягаемости, а те — за ее пределами; последние могут быть вещами, которые прежде находились в моей досягаемости и могли бы быть вовлечены в нее вновь, или вещами, которые никогда не попадали в мою досягаемость, но находятся в досягаемости для тебя — моего собрата — и могли бы быть вовлечены в мою досягаемость, если бы я, находящийся здесь, поменялся местами с тобой, находящимся там. Этот фактор очень важен для нашей проблемы, поскольку все мое проектирование базируется на допущении, что любое действие, происходящее в секторе мира, находящемся под моим реальным или потенциальным контролем, будет практически осуществимо. Однако это еще не все. В каждый данный момент моей биографически детерминированной ситуации я испытываю интерес только к некоторым элементам, или аспектам обоих секторов мира, принимаемого как данность: того, который находится в сфере моего контроля, и того, который находится вне ее. Природу такого отбора определяет мой преобладающий интерес, или, точнее говоря, преобладающая система моих интересов, ведь такой вещи, как обособленный интерес, не существует. Это утверждение остается в силе независимо от того, какое именно значение придается термину «интерес», и независимо от допущения, принимаемого относительно происхождения этой системы интересов<sup>2</sup>. Во всяком случае, в любой данный момент времени происходит отбор вещей и аспектов, релевантных для меня, тогда как другие вещи и аспекты меня в это время не интересуют или даже выпадают из поля моего зрения. Все это биографически детерминировано. Иначе говоря, актуальная ситуация действующего лица имеет свою историю; она есть осажение всех его прежних субъективных переживаний. Эти переживания действующий переживает не

как анонимные, а как уникальные, субъективно данные ему и только ему.

### Сомнение и постановка под вопрос

Субъективно детерминированный отбор релевантных для личной цели элементов из объективно данной целостности мира, принимаемого на веру, рождает решающее новое переживание: переживание сомнения, постановки под вопрос, выбора и принятия решения — короче говоря, обдумывания. Сомнение может проистекать из разных источников; здесь мы обсудим только один случай, важный для стоящей перед нами проблемы. Мы говорили, что нет такой вещи, как обособленный интерес, что интересы с самого начала взаимно связываются друг с другом в системы. Тем не менее, эта взаимосвязь не обязательно ведет к полной их интеграции. Всегда есть возможность наложения и даже столкновения интересов, и, следовательно, возможность усомниться в том, действительно ли элементы, отобранные из окружающего нас мира, бесспорно принимаемого на веру, релевантны нашей наличной цели. Действительно ли я должен принимать во внимание *p*-бытие *S*, а не его *q*-бытие? И то, и другое — открытые возможности, существующие в рамках общей схемы мира, принимаемой до ее опровержения в качестве неоспоримой данности. Но сейчас моя биографически детерминированная ситуация заставляет меня отобрать либо *p*-бытие, либо *q*-бытие *S* в качестве релевантного моей наличной цели. То, что до сих пор не вызвало вопросов, теперь должно быть поставлено под вопрос; возникает ситуация сомнения; создается подлинная альтернатива. И только такая ситуация сомнения, создаваемая отбором элементов мира, принимаемого как данность, отбором, который осуществляется действующим лицом в его биографически детерминированной ситуации, делает возможными обдумывание и выбор. То, что всякий процесс выбора между проектами соотносится с ситуацией сомнения, явно или неявно признавали многие философы, занимавшиеся этой проблемой. Приведем выдержку из Дьюи, который сформулировал этот вопрос в присущей ему мастерской изящной манере: при обдумывании, говорит Дьюи, «каждая из противоборствующих привычек, или импульсов, занимают свою очередь в проецировании на экран воображения.

Каждая разворачивает картину своей будущей истории, карьеры, которую она бы имела, когда бы ей было отдано главенство. Хотя открытое выражение ее вовне сдерживается давлением противоположных побудительных тенденций, само это притормаживание дает привычке шанс проявиться в мышлении...» В мышлении, как и во внешнем действии, объекты, переживаемые при отслеживании хода действия, привлекают и отталкивают, доставляют удовольствие и досаду, торопят и сдерживают. Так протекает обдумывание. Если мы говорим, что оно, наконец, прекращается, то это значит, что происходит выбор, принятие решения. Но тогда что такое выбор? Простое столкновение в воображении с объектом, дающее адекватный стимул для исправления внешнего действия. «Выбор — не возникновение предпочтения из безразличия. Это появление единого предпочтения из конкурирующих предпочтений»<sup>3</sup>.

Этот анализ в сущности полностью приемлем и для тех, кто не может принять исходные взгляды Дьюи на интерпретацию человеческого поведения в категориях привычки и стимула. Между тем, за проблемой, обсуждаемой Дьюи, стоит еще одна проблема. Что заставляет (согласно его терминологии) привычки и импульсы вступать в конфликт? Чем вызывается давление сдерживающих друг друга противоположных побудительных тенденций? Какие из наших многочисленных предпочтений конкурируют друг с другом и могут быть объединены принятием решения? Иначе говоря: я могу выбирать только из тех проектов, которые представлены моему выбору. Меня гложет дилемма, я стою перед альтернативой. Но что является источником такой альтернативы? По нашему мнению, Гуссерль — хотя и на другом уровне — внес существенный вклад в ответы на эти вопросы.

### Проблематичные и открытые возможности по Гуссерлю

Благодаря гуссерлевскому исследованию источника так называемых модализаций предикативных суждений в допредикативной сфере (таких, как определенность, возможность, вероятность) мы получили важное различие между тем, что он назвал проблематичными и открытыми возможностями. Это различие имеет ключевое значение для понимания проблемы выбора.

Согласно Гуссерлю, любой объект наших переживаний изначально преддан нашему пассивному восприятию; он оказывает на нас воздействие, навязывая себя нашему эго. Он, стало быть, побуждает эго повернуться к объекту, обратить на него внимание, и этот поворот к объекту есть низшая форма исходящей от эго активности. Философы зачастую описывали этот феномен как восприимчивость эго, а психологи анализировали под рубрикой «внимание». Внимание есть прежде всего напряженное тяготение эго к интенциональному объекту, однако это тяготение есть всего лишь исходная точка серии активных *когитаций* в самом широком смысле: начальная фаза начинающейся активности несет с собой интенциональный горизонт позднейших фаз этой активности, которые будут либо наполнять, либо не наполнять пустые предвосхищения в непрерывном синтетическом процессе, пока активность, наконец, не достигнет своего завершения или не прервется в форме «и так далее». Взяв в качестве примера нашу действительную веру в существование воспринимаемого внешнего объекта, мы находим, что интерес к этому объекту подталкивает эго к множеству других активностей, например, к сравнению образа, который оно имеет относительно явленности объекта перцепции, с другими образами того же объекта или к обеспечению доступности задней его стороны, если он явлен передней стороной, и т.д. Каждая отдельная фаза всех этих тенденций и активностей несет с собой свой особый горизонт протенций и предвосхищений, т.е. того, что может произойти в позднейших фазах исполняющей активности. Если эти ожидания не исполняются, возникает несколько альтернатив. 1) Может оказаться, что процесс по той или иной причине затруднен — либо потому, что объект исчезает из поля восприятия или перекрывается другим объектом, либо потому, что первоначальный интерес уступил место другому, более сильному. В этих случаях процесс останавливается на конституировании единичного образа объекта. 2) Может также оказаться, что наш интерес к объекту восприятия остается, но наши предвосхищения не исполняются, а развеиваются последующими фазами процесса. Здесь, опять-таки, следует различать два случая: а) наши ожидания развеиваются целиком; например, задняя сторона этого объекта, которая, как мы ожидали, будет равномерно окрашенной в красный цвет сферой, оказывается не красной, а зеленой, и не сферической, а бесформенной. Это «не..., а другая», это наложение нового значения объекта на заранее

конституированное значение того же объекта, вследствие которого новое значение становится на место старого, приводит в нашем примере к полному уничтожению предвосхищающей интенции. Первое впечатление («это равномерно окрашенная в красный цвет сфера») «вычеркивается», отрицается. б) Однако возможно, что первое впечатление не уничтожается полностью, а становится в ходе продолжающегося процесса просто сомнительным. Что это там в витрине магазина: человек (скажем, служащий, занятый украшением витрины) или разодетый манекен? Происходит конфликт между одним мнением и другим, и в течение какого-то времени обе апперцепции восприятия могут сосуществовать. Пока мы сомневаемся, ни одно из этих двух мнений не устраняется; каждое из них остается, имея право на существование; каждое из них мотивируется, и даже более того, постулируется ситуацией восприятия; однако один постулат противостоит другому, каждый оспаривает другой и оспаривается другим. Только разрешение нами этого сомнения уничтожит один или другой из них. В случае сомнительной ситуации оба альтернативных мнения имеют характер «спорных», а то, что является спорным, всегда оспаривается на предмет своего бытия — оспаривается чем-то другим. Это колеблется между двумя тенденциями верить. Оба мнения просто предполагаются в качестве возможностей. Это оказывается в конфликте с самим собой: оно склоняется к вере то в одно, то в другое. Эта склонность означает не просто аффективную тенденцию предположенных возможностей; эти возможности, как говорит Гуссерль, предложены *мне* (me) в качестве бытия, и *я* (I) в процессе принятия решения следую то за одной возможностью, то за другой, в акте «принятия стороны» наделяю достоверностью то одну из них, то другую, хотя всегда натываюсь на препятствия, когда это делаю. Вышеупомянутое следование это мотивируется весом самих возможностей. Активно преследую одну из возможностей на протяжении, по крайней мере, некоторого периода времени, я, так сказать, принимаю мимолетное решение в пользу этой возможности. Но затем я не могу двигаться дальше в силу настоятельного зова другой возможности, которая тоже должна быть надлежащим образом опробована и склоняет меня в нее верить. Решение достигается в процессе прояснения конкурирующих тенденций, в ходе которого либо становится все более видна слабость контрвозможностей, либо возникают какие-то новые мотивы, подкрепляющие преобладающий вес первой.

Возможности и контрвозможности, конкурирующие друг с другом и возникающие из ситуации сомнения, Гуссерль называет *проблематичными, или спорными возможностями* — спорными, потому что интенция решения в пользу одной из них есть интенция вопрошания. Только в случае такого рода возможностей, т.е. возможностей, «в пользу которых что-то говорит», мы можем говорить о правдоподобии (likelihood). Более правдоподобно, что перед нами человек: в пользу возможности того, что это человек, говорит больше обстоятельств, чем в пользу возможности, что это манекен. Правдоподобие, стало быть, это вес, принадлежащий предполагаемым верам в существование интенциональных объектов. От этого класса проблематичных возможностей, которые имеют источник в сомнении, следует отличать класс *открытых возможностей*, имеющих источник в беспрепятственном протекании незаполненных предвосхищений. Если я предвосхищаю окраску невидимой стороны объекта, лишь фронтальная сторона которого, демонстрирующая какой-то образец или какие-то фрагменты, мне известна, то любой конкретный цвет, который я предвосхищаю, возможно, и совпадет с тем, который предъявит невидимая сторона, но не обязательно. Всякому предвосхищению присуще качество неопределенности, и эта общая неопределенность задает рамки свободной изменчивости. Тем, что попадет в эти рамки, будет какой-либо из множества элементов возможно *более непосредственного* определения, о которых я знаю только одно: что они в эти рамки впишутся, — но которые во всех иных отношениях остаются полностью неопределенными. Это и есть понятие открытых возможностей.

Проблематичные и открытые возможности отличаются, прежде всего, своим источником. Проблематичные возможности предполагают тенденции веры, мотивированные ситуацией и конкурирующие друг с другом; в пользу каждой из них что-то говорит, каждая имеет определенный вес. Открытые возможности вообще не имеют никакого веса; они все одинаково возможны. Нет изначально конституированной альтернативы; все возможные в данных общих рамках спецификации в равной степени открыты. Ничто не говорит в пользу одной из них ничего такого, что говорило бы против другой. Неопределенная общая интенция, проявляющая сама по себе модальность определенности — хотя определенности эмпирической, или презумптивной, «до последующего уве-



домления», — несет в себе имплицитную модализацию определенности, присущую ее имплицитным спецификациям. С другой стороны, поле проблематичных возможностей унифицировано: в единстве соперничества и постижимости через дизъюнктивные колебания А, В и С познаются как противоположенные друг другу и, стало быть, единые. Вполне возможно, конечно, что только одна из этих конкурирующих возможностей выступит в сознании на передний план, тогда как другие будут оставаться незамеченными на заднем фоне в качестве пустых и тематически ненаполненных репрезентаций. Однако этот факт не отменяет преданности истинной альтернативы.

Итак, все это Гуссерль. Его теория выбора между альтернативами приобретает дополнительную важность для нашей проблемы, если мы вспомним, что любой проект приводит к истинной проблематичной альтернативе. Каждый проект сделать что-то несет с собой проблематичную контрвозможность не делать этого.

Как ранее говорилось, задача теории открытых и проблематичных возможностей Гуссерля состояла в исследовании источника так называемых модализаций суждения в допредикативной сфере, и, исходя из этого, он брал в качестве примеров когитаций восприятия объектов внешнего мира. Но при этом он часто подчеркивает общий характер этой теории, то, что она имеет отношение ко всем типам деятельности.

На наш взгляд, проделанный нами анализ двух наборов переживаний, гарантирующих практическую осуществимость проектируемых действий, совпадает с результатом гуссерлевского различения. Мир, принимаемый как данность, является общей рамкой открытых возможностей, ни одна из которых не имеет своего специфического веса и до тех пор, пока не вызывает сомнения, не конкурирует с другими. Все считаются эмпирически или презумптивно определенными до последующего уведомления, т.е. до опровержения. Именно отбор из того, что принимается как данность, производимый индивидом в его биографически детерминированной ситуации, преобразует отобранную совокупность открытых возможностей в проблематичные возможности, которые с этого момента выставляются на выбор: каждая имеет свой вес, требует причитающейся ей проверки, демонстрирует тенденции противоборства, о которых говорит Дьюи. Как можно описать эту процедуру выбора точнее?

## Выбор между объектами в зоне досягаемости

Дабы упростить нашу задачу, рассмотрим сначала случай, в котором я должен сделать выбор не между двумя или более будущими положениями дел, которые могут быть вызваны моими будущими действиями, а между двумя объектами А и В, каждый из которых действительно и в равной степени находится в моей досягаемости. Я колеблюсь между А и В как между двумя равно доступными возможностями. И А, и В по-своему меня привлекают. Только что я был склонен взять А, и вот уже эту склонность пересиливает склонность взять В, потом последняя вновь уступает место первой, которая, в конце концов, одерживает победу: я решаю взять А и оставить В.

В этом случае все происходит так, как до сих пор описывалось. На выбор ставится подлинная альтернатива, уже конституированная нашими прежними переживаниями: объекты А и В находятся в равной досягаемости для нас, т.е. достижимы при одних и тех же усилиях. Моя целостная биографическая ситуация, т.е. мой прежний опыт, интегрированный в мою актуально преобладающую систему интересов, создает, по выражению Дьюи, принципиально проблематичные возможности противоборствующих предпочтений. Эту ситуацию большинство современных социальных наук полагает как нормальную ситуацию, лежащую в основании человеческого действия. Предполагается, что человек в любой момент времени оказывается помещен между более или менее четко определенными проблематичными альтернативами или что некоторый набор предпочтений позволяет ему определять курс его будущего действия. Более того, для современной социальной науки является методологическим постулатом, что поведение человека следует объяснять так, как если бы оно происходило в форме выбора из числа проблематичных возможностей. Не вдаваясь в детали, мы хотели бы привести здесь для иллюстрации пару примеров.

Человек, действующий среди других людей и воздействующий на них в социальном мире, обнаруживает, что уже конституированный социальный мир в каждый момент навязывает ему некоторое множество альтернатив, из которых он должен сделать выбор. Согласно современной социологии, действующий должен «определить ситуацию». Делая это, он преобразует свою социальную среду «открытых возможностей» в унифи-

цированное поле «проблематичных возможностей», в пределах которого становятся возможными его выбор и решение, особенно так называемые «рациональные» выбор и решение. Допущение социолога, что действующий в социальном мире исходит из определения ситуации, эквивалентно, стало быть, методологическому постулату, согласно которому социолог должен описывать наблюдаемые социальные действия так, как если бы они происходили в едином поле подлинных альтернатив, т.е. проблематичных, а не открытых возможностей. Аналогичным образом, и так называемый «принцип прибыли», играющий важную роль в современной экономической науке, можно истолковать как научный постулат, требующий работать с действиями наблюдаемых экономических субъектов так, как если бы они должны были выбирать между заранее заданными проблематичными возможностями.

### Выбор между проектами

Итак, мы изучили процесс выбора между двумя объектами, реально находящимися в моей досягаемости, каждый из которых мне равнодоступен. На первый взгляд, могло бы показаться, что выбор между двумя проектами, или двумя курсами будущего действия, происходит точно так же. Действительно, большинство исследователей проблемы выбора не проводили между ними никакого различия. Возможно, к этой проблеме имеет отношение старое различие между *τεχνη πολιτικη* и *τεχνη κτητικη*, искусством творческим и искусством приобретающим, позаимствованное Платоном и Аристотелем у софистов. Основные различия между двумя указанными ситуациями состоят, по-видимому, в следующем. При осуществлении выбора между двумя или более объектами, каждый из которых реально находится в моей досягаемости и равно для меня доступен, проблематичные возможности являются, так сказать, уже готовыми и хорошо очерченными. Конституирование их как таковое находится вне моего контроля; мне приходится либо брать одну из них, либо оставлять обе такими, каковы они есть. Проектирование, однако, осуществляю я, и в этом смысле оно находится в сфере моего контроля. Но прежде чем я отретпетирую в воображении будущие курсы моих действий, исход моего проектирующего действия не вводится в пределы моей досягаемости, и, строго говоря, во время моего проектирования

отсутствуют проблематичные альтернативы, между которыми можно было бы выбирать. Все, что позднее ставится на выбор в форме проблематичной альтернативы, должно быть произведено мною, и в ходе его произведения я могу его по своей воле модифицировать в пределах практической осуществимости. Более того — и этот момент, видимо, решающий, — в первом случае альтернативы, представленные моему выбору, сосуществуют в одновременности во внешнем времени: вот два объекта, А и В; я могу отвернуться от одного из них и вернуться к нему; вот он все еще здесь, оставшийся неизменным. Во втором случае разные проекты моих будущих действий не сосуществуют в одновременности во внешнем времени: разум своими актами фантазирования последовательно создает во внутреннем времени разные проекты, отпуская один, чтобы обратиться к другому, и вновь возвращаясь к нему, или, точнее говоря, воссоздавая первый. Но благодаря переходу и в самом переходе от одного состояния сознания к последующему я стал старше, я расширил свой опыт; я, возвращающийся к первому объекту, уже не «тот же самый», каким я был, когда первоначально его составлял, и, следовательно, сам проект, к которому я возвращаюсь, не является более тем же самым, каким он был, когда я его оставил; или — так, возможно, будет точнее — он тот же самый, но модифицированный. В первом случае на выбор ставятся проблематичные возможности, сосуществующие во внешнем времени; во втором случае возможности, между которыми необходимо сделать выбор, производятся в последовательном порядке и исключительно во внутреннем времени, *durée*.

### Теория выбора Бергсона

Бергсон, более чем кто-либо из философов подчеркивавший важность двух временных измерений — внутреннего *durée* и опространствованного времени — для структуры нашей сознательной жизни, в первой своей книге «*Essais sur les données immédiates de la conscience*» (1899)<sup>4</sup> исследовал проблему выбора именно в этом аспекте. Он обращается к ней в связи с критикой детерминистских и индетерминистских доктрин. Он утверждает, что как детерминисты, так и индетерминисты основывают свои выводы на ассоциативной психологии. Внутреннее *durée* с присущей ей непрерывной последовательностью и взаимо-

связанным потоком сознания они подменяют опространственным временем, в котором соседствуют бок о бок кажущиеся обособленными переживания. Они показывают нам эго, колеблющееся между двумя противоположными чувствами, мечущееся от одного к другому и, в конечном итоге, принимающее решение в пользу одного из них. Тем самым эго и движущие им чувства приспособляются к четко определенным вещам, остающимся неизменными на протяжении всего хода операции. Однако в силу самого того факта, что эго пережило первое чувство, оно уже изменилось к тому времени, когда переживает второе. Следовательно, в любой момент в ходе размышления оно модифицирует не только самое себя, но и чувства, которые на него воздействуют (*agite*). Таким образом создается динамический ряд взаимопроникающих состояний сознания, стимулирующих друг друга и приводящих в своем естественном развитии к свободному акту. Если я выбираю между двумя возможными действиями X и Y и перехожу по очереди от одного к другому, то это, по словам Бергсона, означает, что я прохожу через ряд состояний духа, которые можно распределить по двум группам, в зависимости от того, склоняюсь ли я больше к X или его противоположности. Но даже эти противоположные склонности имеют одно-единственное реальное существование: X и Y — всего лишь символы различных тенденций моей личности в последовательные моменты моего *durée*. В строгом смысле, существуют не два противоположных состояния, а целый ряд последовательных и различных состояний, через которые проходит эго, — эго, которое непрерывно растет и обогащается в процессе колебания между воображаемыми тенденциями, изменяющимися на протяжении процесса обдумывания вместе с изменением самого эго. Таким образом, разговор о двух тенденциях или двух направлениях — не более чем метафора: в действительности не существует ни двух тенденций, ни двух направлений, а есть лишь эго, которое живет и развивается в самих своих колебаниях, пока свободное действие не отделяется от него, подобно созревшему плоду. Ассоциативная психология, используемая одинаково как детерминистами, так и индетерминистами, полагает, однако, что в состоянии обдумывания эго колеблется между двумя — мы бы добавили сюда: проблематичными — возможностями, которые понимаются так, как если бы это были две сосуществующие точки в пространстве, как если бы путь, пройденный до сих пор сознанием эго, в некоторой точке раз-

дваивался и как если бы эго, оказавшись на перепутье, должно было принять решение, какой дорогой последовать дальше. Тот, кто выдвигает подобное положение, допускает ошибку, ибо помещает себя в тот момент времени, когда действие уже было совершено, но, вместе с тем, смотрит на процесс активности действующего так, как если бы раздвоение пути существовало еще до того, как произошло обдумывание и было принято решение. Тем самым, он путает протекающее время с протекшим, *durée* с опространственным временем и упускает из внимания необратимость и непоправимость времени. До того, как действие было совершено, не было ни раздвоения, ни прослеживаемых путей, не было даже направления и вопрошания о пути; и только совершенное действие проложило этот путь. Обдумывание выбора нельзя понимать как колебание в пространстве; скорее, оно представляет собой динамический процесс, в котором эго, а равно и его мотивы, находятся в непрерывном становлении. Эго, непогрешимое в своих непосредственных открытиях, чувствует и объявляет себя свободным; но как только оно пытается объяснить себе свою свободу, оно по необходимости становится жертвой пространственного символизма со всеми свойственными ему ошибками.

Но довольно о Бергсоне. Если перевести его критику в терминологию настоящей статьи, то она нацелена против допущения, что проблематичные возможности существуют в отношении проектов уже в то время, когда все возможности еще только остаются открытыми. Эго, живущее в своих актах, знает только открытые возможности; подлинные альтернативы становятся видимыми лишь в истолковательной ретроспекции, другими словами, когда поступки уже совершены, а становление тем самым переведено в существование. Памятуя о проведенном нами терминологическом различии между действием и поступком, мы можем сказать, что все действия, согласно Бергсону, протекают в рамках открытых возможностей, а проблематичные возможности ограничиваются совершенными поступками.

У нас нет возражений против этой теории (хотя она явно опирается на образец особого класса действий, а именно действий, встраивающихся во внешний мир), за исключением того, что она останавливается на полпути. Разумеется, Бергсон указывает, что эго в самоинтерпретации своих прошлых поступков имеет иллюзию, что оно осуществило выбор из про-

блематичных возможностей. Но при этом он не добавляет, что именно совершенный поступок, а не действие предвосхищается *modo futuri exacti* в проекте. Как мы увидели, проектирование есть предвосхищаемая в фантазии ретроспекция. В этой предвосхищаемой ретроспекции, и только в ней, проектируемое действие фантазируется как завершенное; пути после развилки — если придерживаться бергсоновской метафоры — были проведены, но не как тропы на ландшафте, а как всего лишь карандашные пометки на карте. Это, представляющее в фантазии один проект за другим, растет и обогащается, проходя через ряд последовательных состояний, и, делая это, ведет себя в точности так, как описывает Бергсон, действуя, как было объяснено выше, в рамках открытых возможностей, присущих каждому проектированию. Однако тем, что было спроектировано в таком проектировании (или, лучше сказать: в такой серии последовательных активностей фантазирования), являются предвосхищаемые *modo futuri exacti* совершенные акты, т.е. результаты, которые должны быть действиями достигнуты, но не сами действия, как они будут развертываться. Эти различные предвосхищаемые акты становятся теперь проблематичными альтернативами, наличествующими внутри единого поля *modo potentiali*; они имеют свое квазисуществование и представляются теперь на выбор. Между тем, их существование есть не более чем квазисуществование, т.е. проектируемые поступки только воображаются как сосуществующие; они не представляют собой чего-то готового и равно наличного в пределах моей досягаемости. Но все-таки все они находятся в сфере моего контроля и будут сохранять свое квазисуществование до тех пор, пока я не достигну решения одну из них осуществить. Это решение состоит в накладываемой интенции превратить один из этих проектов в мою цель. Как мы увидели, этот переход требует волевого «приказа», которое мотивируется мотивом для-того-чтобы выбранного проекта.

Мотивы, как говорит Лейбниц<sup>5</sup>, побуждают человека действовать, но не принуждают его. Он свободен выбрать, поддаться ему своим склонностям или не поддаться, или даже подвесить такой выбор. Он обладает свободой рассудительного обдумывания; разум будет служить ему проводником во взвешивании «за» и «против» каждой возможности. Можно перевести это утверждение на используемый здесь язык следующим образом: как только возможности моего будущего

действия оказываются конституированы как проблематичные возможности, наличные в пределах единого поля, т.е. как только два или более проекта ставятся на выбор, вес каждого из них может быть удостоверен операциями суждения. «Искусство обдумывания» — процедура, в ходе которой конфликтующие мотивы, обследованные рассудком, приводят в конечном итоге к акту воления, — было тщательно проанализировано Лейбницем. Как мы увидим, он очень близко подходит к гуссерлевскому понятию мгновенного решения и бергсоновскому понятию свободного поступка, отделяющегося от этого, подобно созревшему плоду.

### Теория воления Лейбница

Лейбниц обращается к этой проблеме в «Теодицее» и рассматривает ее в нравственно-теологическом плане. В дальнейшем изложении его теории мы, дабы отделить заключенный в ней общий анализ от этого контекста, заменили понятия «добро» и «зло», используемые Лейбницем, терминами «позитивный» и «негативный вес» (соответствующих проблематичных возможностей), намеренно оставив на некоторое время открытым вопрос о том, что именно следует понимать под «позитивным» и «негативным весом».

Как и большинство проблем, затрагиваемых Лейбницем в «Теодицее», анализ воления уходит корнями в полемику с Бейлем. Бейль сравнивал душу с весами, где причины и склонности действия выступают как тяжести<sup>6</sup>. По его мнению, то, что происходит в актах [принятия] решения, можно объяснить с помощью гипотезы, что эти весы находятся в равновесии до тех пор, пока тяжести на обеих чашах равны, но склоняются в одну или в другую сторону, если содержимое одной из двух чаш перевешивает содержимое другой. Новый аргумент придает содержимому той или иной чаши дополнительный вес, новая идея светится ярче старой, страх перед тяжким наказанием может перевешивать некоторые ожидаемые удовольствия<sup>7</sup>. Достичь решения становится тем труднее, чем большее число противоположных аргументов приобретают примерно равный вес. Это уподобление кажется Лейбницу неадекватным по нескольким причинам. Во-первых, чаще всего на выбор представлены не две возможности, а гораздо больше; во-вторых, волевые интенции присутствуют в каждой фазе взвешивания.

вания и принятия решения; в-третьих, не существует такой вещи, как равновесие, от которого можно было бы отталкиваться. Исходя из этого, Лейбниц заимствует у схоластов понятия «предшествующей» и «последующей» воли и, после введения собственного понятия «средней» воли, весьма оригинально использует их для объяснения механизма выбора<sup>8</sup>.

Согласно этой теории, воля имеет различные фазы. В общем и целом, можно сказать, что воля состоит в склонности вызывать некоторое действие пропорционально присущему ему позитивному весу. Этот тип воли можно назвать предшествующей волей (*volonté antecedente*), поскольку она не связана и учитывает каждый позитивный вес по отдельности в качестве позитивного, не переходя к комбинациям. Эта воля производила бы свое действие, если бы не было каких-нибудь более сильных контраргументов, препятствующих ее осуществлению. Средняя воля (*volontée moyenne*) проистекает именно из таких контраргументов. Она переходит к комбинациям, таким, как присоединение негативного веса к позитивному, и если последний все еще перевешивает первый, то воля будет и далее тяготеть к этой комбинации. По отношению к окончательной воле, повелительной и решающей, среднюю волю можно считать предшествующей, хотя сама она и следует за чистой и изначальной предшествующей волей<sup>9</sup>. Окончательное и решающее воление возникает из конфликта всех предшествующих воль и их комбинаций — как отвечающих на позитивные тяжести, так и отвечающих на негативные тяжести. Именно из состязания всех этих частных воль проистекает целостное воление, подобно тому как в механике совокупное движение проистекает из всех тенденций, конкурирующих в одном и том же движущемся теле, и в равной степени удовлетворяет каждую из них, осуществляя всех их одновременно. Эта последующая окончательная воля определяет направление поступка, и именно о ней говорят, что каждый совершает то, что он хочет совершить, при условии, что он может это совершить. Рассуждение, таким образом, выполняет свою функцию в определении нашего выбора и превращении *volontés antecedentes* в *volontée finale*. Однако эта функция в нескольких отношениях ограничена. Во-первых, выбор предпочтительного всегда происходит в границах определенного состояния нашего знания (это знание включает в себя всю совокупность наших прежних переживаний). Но это знание не гомогенно; оно отчасти отчетливое, отчасти смутное. Только отчетливое знание есть

царство Разума; в свою очередь, наши чувства и наши страсти поставляют лишь смутные мысли, и их пути связывают нас до тех пор, пока нам не удастся поставить наши действия на фундамент отчетливого знания. Эта ситуация нередко осложняется тем, что наши смутные мысли ощущаются ясно, тогда как наши отчетливые мысли ясны лишь потенциально: они могли бы стать ясными, если бы мы пожелали предпринять необходимые усилия с тем, чтобы эксплицировать их скрытые содержания, например, проникнув в значение слов или символов, и т.д. Во-вторых, и здесь Лейбниц разделяет точку зрения Локка, человеческий разум склонен выносить ложные суждения при сравнении теперешних удовольствий и неудовольствий с будущими, не обращая внимания на то, что это будущее станет настоящим и явится тогда во всей своей непосредственной близости. Лейбниц сравнивает этот феномен с пространственной перспективой: малое расстояние во времени может целиком лишить нас ощущения будущности, как если бы будущий объект и вовсе исчез. Что в таком случае от будущих вещей остается, так это зачастую лишь имя, или слепая мысль (*cogitationes caecae*). При этом может оказаться, что мы даже не поднимаем вопроса о том, следует ли предпочесть будущие блага, а действуем согласно нашим смутным впечатлениям. Но даже если мы это делаем, даже если мы все-таки ставим этот вопрос, то мы, возможно, неверно предвосхищаем будущие события или сомневаемся, что наше решение приведет к предвосхищаемым последствиям. В-третьих, идеальное уравнивание доводов, которые определяют наш выбор, можно сравнить с процедурой счетовода, подводящего баланс. Ни один пункт не должен быть упущен, каждый должен получить причитающуюся оценку, все должны быть правильно упорядочены и, в конечном счете, точно просуммированы. В каждой такой деятельности рассуждения могут быть допущены ошибки. В-четвертых, чтобы прийти к правильной оценке последствий нашего выбора (современные социальные ученые сказали бы: к «идеально рациональному решению»), нам понадобилось бы владеть несколькими умениями, столь же неразвитыми сегодня, как и во времена Лейбница. Нам понадобились бы умение делать доступным для себя то, что мы знаем (*l'art de s'aviser au besoin ce qu'on sait*), умение оценивать вероятность будущих событий, а именно, последствий наших решений, и, наконец, умение определять позитивный и негативный вес проблематичных возможностей, данных нам на выбор, или, как называет их Лейбниц,

ценностей добра и зла. Только тогда мы могли бы надеяться овладеть тем, что Лейбниц называет искусством последствий.

Как в теориях Гуссерля и Бергсона, так и здесь именно это в процессе жизни своего потока сознания создает возможности, которые предоставляются ему на выбор, и принимает в ходе этого процесса окончательное решение. «Восприятия», являющиеся для Лейбница не чем иным, как изменениями в самом разуме, создают своими подстреканиями склонности, т.е. различные «*volontées antecedentes*», которые, как только в них вмешивается испытующий разум, частично уравниваются «*volontées moyennes*». За тенденцией, таким образом, следует контртенденция, и так происходит до тех пор, пока «мотив для-того-чтобы» преобладающего проекта не приводит к «*volontée consequente, decretoire et definitive*», т.е. волевому приказанию: «Приступим!» Для Бергсона выбор есть всего лишь последовательный ряд событий во внутреннем *durée*, но никак не колебание между двумя наборами факторов, сосуществующих в опространствованном времени; обдумывание со всеми его противоборствующими тенденциями может быть понято лишь как такой динамический процесс, в котором эго, его чувства, мотивы и цели пребывают в непрерывном становлении до тех пор, пока это развитие не увенчивается, наконец, свободным актом. Для Гуссерля ситуация сомнения, в которой эго вступает в конфликт с самим собой, создает единое поле проблематичных возможностей; в серии последовательных мгновенных, но не окончательных решений эго принимает сторону одной из конкурирующих возможностей и контрвозможностей и удостоверяет, что могло бы говорить в пользу каждой из них. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не исчезает ситуация сомнения; а это, говорит Гуссерль, происходит либо благодаря тому, что было принято решение с плохим логическим сознанием, либо в силу того, что сомнение преобразовалось в эмпирическую определенность, которую он, поскольку она всего лишь эмпирическая, называет «определенностью до последующего уведомления». Гуссерль изучает в категориях модализации конституирование проблематичных возможностей как предпосылку всякого возможного выбора; Бергсон описывает сам процесс выбора, анализируя задействованные в нем временные перспективы; Лейбниц прослеживает взаимодействие волевых интенций, ведущее к конечному «приказанию», заключенному в принятом решении. Все три теории сходятся в одной точке, поскольку помещают себя в самое средоточие

развертывающегося потока сознания действующего лица, которому предстоит сделать выбор, и не занимаются ретроспективной реконструкцией того, что произошло, когда такое решение уже было принято, — реконструкцией, которая входит в компетенцию так называемой объективной точки зрения наблюдателя, или эго, которое как наблюдатель самого себя поворачивается в самоинтерпретации спиной к своим прошлым переживаниям.

Но тем не менее — и со всеми основаниями — прошлые переживания действующего лица принимаются в расчет. С точки зрения Бергсона, актуальное состояние духа индивида стало таким, какое оно есть, именно потому, что он пережил все свои прошлые переживания в их специфической интенсивности и их конкретной последовательности. В другом месте работы, на которую мы ссылались, Бергсон доказывает невозможность того, чтобы ученый Петр решал, как будет действовать Павел в конкретной ситуации. Допущение, что Петр способен к такого рода предсказаниям, предполагало бы, что он прошел через все переживания Павла, причем с точно такой же интенсивностью и в точно такой же последовательности, как и сам Павел, из чего следовало бы, что поток сознания Петра должен быть в точности таким же, как и поток сознания Павла, одним словом, что Петр тождествен Павлу. Теория Гуссерля предполагает целую сферу допредикативных переживаний, которая является единственным источником сомнения с ее конституированием проблематичных возможностей и единственно в которой каждая возможность получает свой «вес». Уверенность, в которую преобразуется сомнение, тоже не более чем эмпирическая; это уверенность, согласованная и совместимая с нашими предшествующими переживаниями. С точки зрения Лейбница, «добро» и «зло» — термины, переведенные нами в «позитивный и негативный вес», — соотносятся с прежними переживаниями действующего, равно как и взыскующая активность рассудка, благодаря которой различные «*volontées antecedentes*» превращаются в «*volontées moyennes*».

### Проблема веса

Теперь мы должны исследовать происхождение «веса» возможностей и контрвозможностей, по Лейбницу, «добра» и «зла», как позитивного веса, присущего «*volontée antecedente*», или

негативного веса, присущего «*volontée moyenne*». Давайте вновь обратимся к нашему примеру выбора между двумя различными проектами. Можно ли сказать, что «вес» («добро» или «зло»), придаваемый каждому из них, внутренне присущ специфическому проекту? По-видимому, такое утверждение бессмысленно. Стандарты весов, добра и зла, позитивного и негативного, если взглянуть в первом приближении, не создаются самим проектированием; сам проект оценивается в соответствии с заранее существующей рамкой соотнесения. Каждому исследователю этики знаком вековой спор о ценностях и заключенном в них оценивании. Однако для решения нашей задачи нет нужды углубляться в его обсуждение. Нам достаточно указать, что проблема позитивных и негативных весов выходит за рамки актуальной ситуации конкретного выбора и принятия решения, и показать, как можно объяснить этот факт, не обращаясь к метафизическому вопросу о существовании и природе абсолютных ценностей.

Обсуждая выше понятие интереса, мы заметили, что для действующего лица не существует такой вещи, как обособленный интерес. Интересы с самого начала имеют свойство взаимно связываться с другими интересами в систему. Из этого утверждения непосредственно вытекает, что действия, мотивы, цели и средства и, следовательно, проекты и задачи тоже являются не более чем элементами, которые, наряду с прочими элементами, образуют систему. Любая цель — всего лишь средство достижения другой цели; любой проект проектируется в рамках системы более высокого порядка. По этой самой причине любой выбор между проектами соотносится с ранее выбранной системой взаимосвязанных проектов более высокого порядка. В нашей повседневной жизни проектируемые нами цели являются средствами, включенными в рамки заранее составленного конкретного плана — плана на час или на год, трудового плана или плана проведения досуга, — а все эти конкретные планы подчинены нашему жизненному плану как предельно универсальному плану, который определяет подчиненные ему планы, даже если последние конфликтуют друг с другом. Таким образом, каждый выбор соотносится с заранее пережитыми решениями более высокого порядка, на которых основывается наличная альтернатива, — как и любое сомнение соотносится с прежде пережитой эмпирической определенностью, которая в процессе сомнения ставится под вопрос. Именно наше предпережива-

ние этой более высокой организации проектов лежит в основании проблематичных возможностей, представляемых нашему выбору, и определяет вес каждой возможности: ее характер позитивен или негативен лишь в соотнесении с этой системой более высокого порядка. Для целей такого чисто формального описания не требуется принимать никаких допущений ни относительно специфического содержания задействованной более высокой системы, ни относительно существования так называемых «абсолютных ценностей»; не требуется принимать никаких допущений и относительно структуры нашего предварительного знания, т.е. относительно присущей ему степени ясности, эксплицитности, смутности и т.д. Напротив, феномен выбора может быть повторен на любом уровне смутности. С точки зрения действующего, живущего повседневной жизнью, полная ясность всех элементов, вовлеченных в процесс выбора, а значит, и «идеально» рациональное действие, невозможны. Дело обстоит так потому, что, во-первых, система планов, на которой базируется конституирование альтернатив, принадлежит к области мотивов потому-что его действия и раскрывается лишь в ретроспективном наблюдении, оставаясь скрытой для действующего, который живет в своих поступках, ориентированных на те мотивы для-того-чтобы, которые он имеет в виду; и, во-вторых, его знание, если наш анализ верен, опирается на его биографически детерминированную ситуацию, которая отбирает из мира, просто принимаемого как данность, элементы, релевантные его наличной задаче, а сама эта биографически детерминированная ситуация, преобладающая в момент проектирования, изменяется в ходе колебания между альтернативами, если уж не по какой-то иной причине, то хотя бы в силу переживания самого этого колебания.

### Резюме и заключение

Наш анализ, намеренно ограниченный нами повседневной ситуацией выбора между проектами, начинался с мира, принимаемого в качестве не подлежащей сомнению данности, как общего поля наших открытых возможностей. Наша биографически детерминированная ситуация отбирает некоторые элементы этого поля как релевантные нашей наличной цели. Если этот отбор не сталкивается ни с какими

препятствиями, проект просто преобразуется в цель, и действие выполняется как нечто само собой разумеющееся. Если благодаря самой смутности нашего знания, наличного в момент проектирования, возникает ситуация сомнения, то некоторые из возможностей, которые ранее были открытыми, становятся сомнительными, проблематичными. Какая-то часть мира, прежде принимавшаяся в качестве неоспоримой данности и, следовательно, не вызывавшая сомнений, теперь ставится под вопрос. Принятое решение вновь преобразует то, что стало сомнительным, в определенность, но определенность эмпирическую — т.е. во вновь не подвергаемый сомнению элемент нашего знания, принимаемый на веру до последующего уведомления.

Наш анализ, несмотря на его пространность, не мог не остаться очень схематичным. Понятия «интереса», «систем интереса», «релевантности» и, прежде всего, понятие мира, принимаемого как данность, и биографически детерминированной ситуации — все это, скорее, заголовки для целых групп проблем, нуждающихся в дальнейшем исследовании. В заключение позволим себе указать на еще два вопроса, особенно важных для социальных наук, к которым, возможно, полезно было бы применить результаты предшествующего анализа.

Первый касается понимания действия другим человеком, наблюдателем продолжающегося или совершенного действия в социальном мире. Нет никаких гарантий, что мир, субъективно принимаемый на веру действующим лицом, будет столь же несомненным для наблюдателя. Действующий может предполагать, что то, что принимается им как данность, несомненно для «каждого, принадлежащего к нам», но окажется ли верным это допущение для конкретного другого человека, зависит от того, было ли прежде между ними установлено подлинное мы-отношение. Тем не менее, даже если это так, биографически детерминированная ситуация действующего и наблюдателя, а стало быть, и осуществляемый ими отбор релевантных элементов из числа открытых возможностей, с необходимостью должны различаться. Вдобавок к тому, наблюдатель не участвует непосредственно в процессе выбора и принятия решения действующим лицом, даже если некоторые из его фаз были ему сообщены. Он должен, исходя из совершенного внешнего поведения, или поступка, реконструировать лежащие в его основе мотивы для-того-чтобы или потому-что действующего лица. И все же человек способен, по

крайней мере в некоторой степени, понять своего собрата. Как это возможно?

Второй вопрос относится к природе идеализации и генерализации, производимой социальным ученым при описании действий, происходящих в социальном мире. С одной стороны, социальному ученому не позволено принимать социальный мир на веру, т.е. как простую данность. Суть его «генерального плана» состоит в том, чтобы поставить этот мир под вопрос и изучить его структуру. С другой стороны, *как* ученый (но не как человек среди других людей, каковым он тоже, несомненно, является), он находится в таком положении, когда элементы, релевантные для его научных действий, определяются не его биографически детерминированной ситуацией — или, по крайней мере, определяются ею не в том смысле, в каком определяются для действующего в повседневной жизни. Может ли социальный ученый иметь дело и имеет ли он действительно дело с той же самой реальностью социального мира, которая явлена действующему лицу? И если да, то как это возможно?

Ответ на каждый из этих вопросов потребовал бы подробных исследований, выходящих далеко за рамки настоящей статьи.

## Примечания

<sup>1</sup> Dewey John. Human Nature and Conduct. III (Modern Library edit.). P. 190.

<sup>2</sup> Поскольку то, что обычно называют интересом, является одним из основных элементов человеческой природы, этот термин неизбежно будет означать для разных философов разные вещи, в зависимости от их базисной концепции человеческого существования в мире. Рискнем предположить, что разные решения, предложенные для объяснения происхождения интересов, можно разделить на два типа: согласно первому, так называемые интересы конституируются мотивами потому-что, согласно второму — мотивами для-того-чтобы. Лейбница с его теорией «малых восприятий», определяющих всю нашу деятельность, можно рассматривать как представителя первого типа, а точку зрения Бергсона, согласно которой все наши восприятия определяются нашей деятельностью, — как пример второго.

<sup>3</sup> Op. cit. P. 190 и далее.

<sup>4</sup> См.: Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания // Бергсон А. Собр. соч. Т. 1. М.: Московский клуб, 1992. С. 45–155, особенно с. 126 и далее. — Прим. перев.

<sup>5</sup> А мотивы, с его точки зрения, всегда основываются на «восприятиях», в том широком смысле, в каком он использует этот термин, включая в него «малые восприятия».



<sup>6</sup> См.: *Лейбниц Г.В.* Опыты теодицеи о благодати Божией, свободе человека и начале зла. § 324 // *Лейбниц Г.В.* Сочинения в 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1989. С. 345. — *Прим. перев.*

<sup>7</sup> Там же. С. 345–346. — *Прим. перев.*

<sup>8</sup> Там же. § 119. С. 202–203. — *Прим. перев.*

<sup>9</sup> Там же. С. 202. — *Прим. перев.*



**Феноменология  
и социальные  
науки**

## Значение Э. Гуссерля для социальных наук\*

Гуссерль не был сведущ в конкретных проблемах социальных наук. Однако проблемы intersубъективности, эмпатии и статуса общества и общины как intersубъективностей более высокого порядка занимали его с первых же набросков второго тома «Идей». Когда я однажды спросил его, почему же он воздержался от публикации второго тома, он ответил, что в то время он еще не нашел решения проблемы конституирования intersубъективности<sup>1</sup>. Он верил, что осуществил это в Пятом «Картезианском размышлении». Тема «жизненного мира» (*Lebenswelt*) стала главенствующей в посмертно изданных частях его «Кризиса европейских наук».

Читателю, знакомому с работами Э. Гуссерля, не нужно представлять его теорий, относящихся к данной проблеме; критический же анализ их недостатков можно найти где угодно<sup>2</sup>. Возможно, было бы полезным кратко очертить то, как трактуются эти проблемы некоторыми из тех мыслителей, которые основывают или думают, что основывают, свои рассуждения на философии Э. Гуссерля.

К сожалению, первая когорта учеников Э. Гуссерля, близко знакомых с ним лично, верила в то, что конкретные проблемы социальных наук можно разрешить с помощью непосредственного применения метода эйдетической редукции к непроясненным понятиям обыденного мышления или же к столь же непроясненным понятиям эмпирических социальных наук. Моего глубокого уважения к Эдит Штайн<sup>3</sup> как к личности и мыслителю ничуть не умаляет констатация того, что наивное использование эйдетического метода ею и Гердой Уолтер<sup>4</sup>

\* *Schutz A. Husserl's Importance for the Social Sciences // Collected Papers. vol. 1. P. 140–149. Пер. Н.М. Смирновой.*

в анализе проблемы социальных отношений, общины и государства привели их к формулировке определенных аподиктических и претенциозно априористских суждений, которые внесли свой вклад в дискредитацию феноменологии в глазах представителей общественных наук.

Даже Макс Шелер использовал тот же неудачный подход в заключительных главах своей работы «Формализм в этике и материальная этика ценностей»<sup>5</sup>, где он попытался проанализировать природу общества и общины в их различных формах. В дальнейшем, когда этот замечательный мыслитель все более и более погружался в конкретные проблемы социальных наук и сам становился выдающимся социологом, он отказался, как мне кажется, от многих теорий, развитых в этой книге. Феноменологический анализ эйдетической структуры иерархии ценностей привел его к концепции Личности (Person) как центра духовных актов. Но он гипостазировал идею индивидуальной личности, введя понятие коллективной личности (Gesamtperson), чьи отдельные духовные акты направлены на суправитальные ценности, такие, как правовой порядок, государство, церковь. Природа таких коллективно определенных актов, предположительно выполняемых коллективной личностью, остается всецело непроясненной, и по той самой причине столь же непроясненной остается и природа четырех различаемых им форм социальности, а именно: 1) толпа или масса, 2) община, основанная на общности жизни (Lebensgemeinschaft), 3) общество в узком смысле, 4) общность в любви, основанная на идее божественного спасения.

Однако еще во втором издании своей книги «Природа симпатии»<sup>6</sup> М. Шелер использует феноменологические методы для решения вопроса об основании суждения о реальности других «я» и возможности и пределах нашего понимания их, постулируя, что эта проблема является *Проблемой* любой теории познания в социальных науках. В дальнейшем он осознал, что социология должна быть основана на тщательно разработанной философской антропологии. Тогда он приложил методы идеации к решению проблемы природы человека в мире, естественном и социокультурном. Биологическая природа человека располагается в основании его системы потребностей и строя их порядка, его духовная природа определяет формы его познания. М. Шелер обещал показать в своей книге по метафизике<sup>7</sup>, которую ему не удалось закончить, что феноменологическая редукция Э. Гуссерля является особой эпистемологической техникой, свойственной философской позиции, хотя и представленной авто-

ром в терминах логической методологии<sup>8</sup>. М. Шелер постулирует в качестве предпосылки любой феноменологической редукции теорию природы реальности и нашего опыта ее восприятия. Он критикует Э. Гуссерля за то, что тот отождествил понятия «быть реальным» и «иметь место во времени». Согласно М. Шелеру, всеобщий тезис реальности в естественной установке и его антропоморфный характер, равно как и *структуру* «относительно естественной концепции мира», принимаемые в качестве не подлежащей сомнению данности, можно анализировать феноменологическими методами. Само *понятие* этой относительно естественной установки, однако, меняется от группы к группе, а также и в пределах самой группы в процессе ее исторического развития. Описать ее характеристики — задача эмпирических социальных наук.

Если я правильно понял соответствующее высказывание проф. М. Мерло-Понти<sup>9</sup>, его взгляд на применимость феноменологических методов к проблемам социальных наук очень близок к позиции «позднего» М. Шелера. Мерло-Понти цитирует письмо Э. Гуссерля к Люсьену Леви-Брюлю от 1935 года, в котором тот констатирует как антропологический факт, что исторический релятивизм неоспоримо имеет свое законное место как станция на пути, ведущем к интенциональному анализу структуры социального мира. И Мерло-Понти подытожил свою позицию, констатируя, что с феноменологической точки зрения социальный мир является не просто объектом, но, прежде всего, моей ситуацией, проживаемой в живом настоящем, посредством которой также и все историческое прошлое становится мне доступным; социальное всегда является мне как вариация отдельной жизни, в которой я участвую и с помощью которой мой собрат всегда является для меня другим Я, alter ego.

Именно эта констатация является точкой расхождения взглядов Ортеги-и-Гассета<sup>10</sup> с позицией Э. Гуссерля. Согласно Ортеге, Я обнаруживает свою реальность в ее имманентном характере, т.е. в совершенном одиночестве своей личной жизни, которая для него очевидна. Человеческая жизнь Другого для меня латентна и гипотетична, это реальность второго порядка; его Я является для меня *квази-Я*, трансцендентным моей жизни, лишь со-присутствующим, но никогда не данным мне. Точнее, я обычно воспринимаю эти реальности второго порядка как непосредственно данные, как если бы они были изначальны. Так что я не знаю о своей подлинной жизни в ее одиночестве и истине, но я живу в социально обусловленной реальности, по-

средством которой Другой становится тем, с кем я могу и должен установить отношение. Способность Другого соответствовать моим действиям, результатом которой является их взаимность, является первым социальным фактом и фундаментальным для конституирования общего окружения. Ортега ссылается на высказывания Э. Гуссерля, что значение слова «человек» изначально подразумевает взаимное существование с Другими, сообщество людей, людей в обществе. Для Ортеги, как и для Гуссерля, присутствие тела Другого является указанием на со-присутствие духовного начала. Но хотя тело Другого и принадлежит моему миру, мир Другого остается для меня чужим. Ортега подвергает критике<sup>11</sup> все содержание теории Э. Гуссерля (развитой в Пятом «Картезианском размышлении»), в которой конституируется Другое Я (the alter ego) на основе своей собственной интенциональности, — то, что Э. Гуссерль пытается постичь Другого как alter ego посредством аналогизирующей проекции или перестановки (характеристик. — *H.C.*) моего тела на тело Другого. Э. Гуссерлю не удалось в должной мере учесть то, что Я наблюдаю лишь внешность тела Другого, в то время как свое тело я воспринимаю «изнутри». И это различие не может быть сведено к различию перспектив «Здесь» и «Там». Более того, как же, следуя Э. Гуссерлю, эмпатическое перенесение возможно, если Я мужчина, а Другой — женщина? Согласно Ортеге, ego есть не что иное, как мое одинокое Я, и разговоры об alter ego лишь означают, что налицо абстрактный Другой, соответствующий тому, чем ego является во мне самом. Но вопреки общему окружению, устанавливаемому способностью Другого мне со-ответствовать, изначальная реальность Другого остается недостижимой для меня, как и моя для него, и присущий нам общий мир, в котором мы живем, не является ни моим, ни его; этот объективный мир — Ортега называет его гуманизированным миром — соответствует обществу, в котором мы родились. В этом мире Другой является прежде всего абстрактным Он, затем он может быть индивидуализирован и превратиться в Тебя. Однако Я в его конкретности появляется последним. Именно Другой заставляет меня обнаружить собственные границы, отделяющие меня от него и мой мир от его. Возникающее таким образом мое конкретное Я воспринимается мною как Другой, и особенно как Ты, как «другой ты» (an alter tu). Общество и община, государство и другие формы коллективности воспринимаются мною в анонимности таких выражений, как «некто», «люди», «делать как сделано». Разделяя этот мир, я перестаю быть индивидуальной лично-

стью с личными убеждениями. Я превращаюсь в социальный автомат, вхожу в состояние «неаутентичности» (заимствуя термин М. Хайдеггера, не используемый Ортегой), лишь повторяя «то, что передумано, сказано, сделано». Короче: я социализирован, подвергнут действию социализирующих сил, принудительных по отношению ко мне. Однако не существует коллективной души или коллективного сознания в дюркгеймовском смысле; социальные отношения всегда межиндивидуальны.

Теория Ортеги, по общему признанию, начинается с гуссерлева понятия всеобъемлющего окружения как основания конституирования социальности. Как и Гуссерль, он не замечает того, что лишь восприятие существования Другого делает возможным предполагаемое общее всеобъемлющее окружение, так что все рассуждение впадает в порочный круг. Отвергнув — не без некоторых оснований — взгляды Э. Гуссерля на конституирование Другого в трансцендентальной сфере, а с ним и на конституирование общего intersубъективного мира, он отвергает — еще более обоснованно — гуссерлеву концепцию коллективности как intersубъективности более высокого порядка. В неаутентичности гуманизированного мира Другой воспринимается не как alter ego, но как социализированное Я посредством alter tu. Ортега, несомненно, проводит свой анализ в пределах естественной установки и не принимает во внимание тот факт, что заботой Э. Гуссерля в «Картезианских размышлениях» было конституирование трансцендентальной intersубъективности в пределах феноменологически редуцированной сферы. Но в обеих сферах вопрос остается открытым: как возможен общий мир с помощью общих интенциональностей?

Хотя эта проблема и остается центральной для любого феноменологического исследования, тот факт, что она до сих пор не нашла удовлетворительного решения, не умаляет выдающегося значения прижизненно опубликованных работ Э. Гуссерля для основания социальных наук. Поскольку эти науки должны иметь дело не с философскими аспектами intersубъективности, но со структурой жизненного мира (Lebenswelt), воспринимаемого людьми в их естественной установке, т.е. теми, кто родился в социокультурном мире, должен найти в нем свое место и поладить с ним. Этот мир пред-дан ему и непроблематизированно воспринимается им как сам собой разумеющийся — «непроблематизированно» в том смысле, что не вызывает вопросов до последующего упоминания, но может быть проблематизирован в любое время. В естественной установке я считаю само собой ра-

зумеющимся, что мои собратья существуют, что они воздействуют на меня, а я — на них, что между нами могут быть установления, — по крайней мере, в определенных пределах — коммуникация и взаимное понимание, и это осуществляется с помощью определенной системы знаков и символов в рамках определенной социальной организации и определенных социальных институтов, ни один из которых не является моим творением.

Макс Вебер показал, что все явления социокультурного мира возникают в социальном взаимодействии и могут быть отнесены к нему. Согласно его представлениям, главной задачей социологии является понять то значение, которым действующий наделяет свое действие («субъективное значение», в его терминологии)<sup>12</sup>. Но что такое действие, что такое значение и как возможно понимание такого значения моим товарищем, будь он партнер по социальному взаимодействию, просто наблюдатель в повседневной жизни или социальный ученый? Я утверждаю, что любая попытка ответить на эти вопросы прямо приводит к проблемам, которые занимали Э. Гуссерля и которые он частично разрешил. Я предлагаю дать короткий и, конечно же, не вполне адекватный обзор некоторых важных проблем социальных наук, выбранных наугад, к которым могут быть приложены — и отчасти это уже сделано — определенные результаты исследований Э. Гуссерля.

1) Позвольте для этой цели определить осмысленное действие как поведение, мотивированное заранее спланированным проектом. Проектируемое является предвосхищенным состоянием дел, которое нужно претворить в жизнь выполнением действия. Процесс проектирования, таким образом, является репетицией будущего состояния дел в фантазии. Какова природа этого фантазма? На языке I тома «Идей», это разновидность нейтральности полагающего осовременивания (*Neutralitätsmodifikation der setzenden Vergegenwärtigung*)<sup>13</sup>. Более того, отношение спланированного проекта к его мотивам, с одной стороны, к последующему действию — с другой, становится понятным только с помощью предложенного Э. Гуссерлем анализа сознания внутреннего времени.

2) Любое действие по своему проективному статусу отсылает к тому, что можно назвать реальным запасом ранее организованного наличного знания, которое является, таким образом, осадением (*sedimentation*) прошлых актов восприятия вместе с обобщениями, формализациями и идеализациями. Оно «под рукой», реально или потенциально припоминаемое

или удерживаемое, и как таковое является основанием всех наших протенций и предвосхищений. Они же, в свою очередь, являются предметом базовых идеализаций «так далее, и тому подобное» («und so wieder»), а также «я могу это снова» («Ich kann immer wieder»), описанных Э. Гуссерлем<sup>14</sup>.

Более того, этот запас наличного знания содержит зоны множества степеней ясности и отчетливости. Он содержит открытые неопределенные горизонты неизвестного, но потенциально познаваемого. Он демонстрирует релевантные структуры различных типов, и все они основаны на различных модификациях внимания<sup>15</sup>, возникающих из наших практических, теоретических или аксиологических интересов. Это множество измерений запаса наличного знания является результатом синтетических операций нашего сознания, с помощью которых политетически конституированные акты схватываются монотетически<sup>16</sup>, короче, результатом всего множества исполнений на более высоком уровне, которые Э. Гуссерль описал в I томе «Идей», особенно в последней части этой книги<sup>17</sup>. Любой успешный анализ проблемы наличного знания должен основываться на этих концепциях и их скрытых смыслах; такой анализ чрезвычайно важен для многих конкретных проблем социальных наук, поскольку культуру можно определить как разделяемое знание, социальное по происхождению и социально одобренное.

3) Любое действие включает выбор, и не только в тех случаях, когда несколько способов действия представлены к выбору. Даже и в отношении отдельного проекта существует выбор, осуществить ли его или отбросить. Гуссерлевы теории открытых и проблематичных возможностей<sup>18</sup>, различных значений высказывания «Я могу»<sup>19</sup> и проблем «формальной практики»<sup>20</sup> открывают дорогу анализу выбора в естественной установке, основополагающему для всех социальных наук.

4) Если я воспринимаю моего собрата в так называемом отношении «лицом-к-лицу», то я разделяю с ним общее окружение, элементом которого для меня является его тело, как мое для него. Гуссерлев анализ, осуществленный в трансцендентально редуцированной сфере<sup>21</sup>, окружения с позиции «Здесь» (*hic*) и Там (*illic*) имеет огромную важность в отношении жизненного мира (*Lebenswelt*), воспринимаемого в естественной установке. Позиция «Здесь» является нулевой точкой системы координат, с помощью которой индивид организует жизненный мир в зоны реальной и потенциальной досягаемости, каждая из которых несет в себе открытый горизонт неопределенной

определимости. Система координат Другого имеет нулевой пункт, который отсюда (Here) видится как Там (There), но который является его «Здесь». «Взаимность перспектив»<sup>22</sup>, используя столь дорогой социологам термин, основан на открытой возможности изменения точек зрения, т.е., метафорически выражаясь, на установлении формулы трансформации, посредством которой понятия одной системы координат могут быть переведены в понятия другой. Все это относится не только к способам видения, основанным на положении в пространстве, но и к тем, что определены определенной социокультурной ситуацией в ее конкретно-историческом измерении.

5) Гуссерлев анализ сознания внутреннего времени и взаимодействия протенций и ретенций делает понятным, что я могу участвовать в потоке сознания Другого в живом настоящем, в то время как я могу схватить — и то лишь в рефлексивной установке — только прошлые стадии своего потока сознания.

6) Э. Гуссерль ясно показал, что сознательная жизнь Другого изначально доступна мне не иначе, как посредством аппрезентации<sup>23</sup>. Воспринимаемые мною объекты и события внешнего мира — тело Другого как экспрессивное поле, телесные движения Другого или их результат, например объекты культуры, — интерпретируются мною как знаки и символы событий в сознании Другого. Гуссерль исследовал природу и конституирование этих объектов более высокого порядка, как он их называл (*fundierte Gegenstände*). В своих «Логических исследованиях»<sup>24</sup> он уже занимался — хотя и довольно фрагментарно — теорией знаков и символов как смыслов и выражений, как смыслонаделяющих и смыслонаполняющих актов, индикаторов, значащих знаков и т.д. Мне, однако, кажется<sup>25</sup>, что гуссерлева теория аппрезентации, развитая в его поздних работах, может быть с успехом использована для изучения взаимоотношения между знаком и означаемым, символом и тем, что он символизирует, а также для анализа великих символических систем, таких, как язык, миф, религия, искусство, каждая из которых является существенным элементом жизненного мира (*Lebenswelt*) и, соответственно, представляет огромный интерес для социальных наук. Такая теория должна была бы также исследовать проблему множественности уровней реальности и их взаимосвязь, а также их укорененность в главенствующей реальности жизненного мира. Более того, нужно показать, в каком смысле эти системы, с одной стороны, конститутивны в отношении отдельных обществ и культур, а с другой стороны, каково их социальное происхождение.

7) Социальный мир имеет определенные измерения близости и удаленности в пространстве и времени, а также близости и анонимности. Каждое из этих измерений имеет присущую ему горизонтную структуру и стиль восприятия. Такое восприятие является допредикативным, и его стиль представлен типологиями, сформированными отдельно в отношении восприятия современников, предков и потомков. Гуссерлев анализ такого допредикативного опыта и природы типов (хотя и не использованный для анализа социального мира) очень важен<sup>26</sup>. Отправляясь от этого, можно объяснить, почему мы интерпретируем действия нашего собрата с помощью типов исполнения действия и персональных типов и почему мы должны предпринять самотипизацию для того, чтобы прийти с ним к согласию, организуя универсум коммуникативного понимания. Социальные науки изучают эту проблему с точки зрения «социальных ролей», посредством так называемой субъективной и объективной интерпретации значения действия (Макс Вебер). С другой стороны, все типизации обыденного мышления сами являются неотъемлемыми элементами конкретно-исторического социокультурного жизненного мира (*Lebenswelt*), в котором они приняты как сами собой разумеющиеся и социально одобренные. Их структура определяет, среди прочего, социальное распределение знания, его относительность и релевантность конкретному социальному окружению тех или иных социальных групп в конкретной исторической ситуации. Это узаконенные проблемы релятивизма, историцизма и так называемой социологии знания.

Суммируя вышеизложенное, мы можем сказать, что эмпирические социальные науки найдут свое подлинное основание не в трансцендентальной феноменологии, но в конститутивной феноменологии естественной установки. Выдающийся вклад Гуссерля в социальные науки состоит не в его неудачной попытке конституирования трансцендентальной интересубъективности в пределах редуцированной эгологической сферы, не в непроявленном понятии эмпатии как основы понимания, наконец, не в интерпретации общин и обществ как интересубъективностей более высокого порядка, природа которых должна быть описана эйдетически, но, скорее, в богатстве его анализа, относящегося к проблемам жизненного мира (*Lebenswelt*), который он намеревался развить в философскую антропологию. Тот факт, что такой анализ осуществлялся в феноменологически редуцированной сфере и, более того, сами эти проблемы обретают видимость лишь по осуществлению такой редукции, не уменьшает досто-

верности их результатов в сфере естественной установки. Ведь Э. Гуссерль раз и навсегда установил принцип, согласно которому анализ, осуществленный в редуцированной сфере, сохраняет свою значимость и для области естественной установки<sup>27</sup>.

### Примечания

<sup>1</sup> Некоторые предварительные замечания, относящиеся к личным воспоминаниям автора о Гуссерле, содержащиеся в ранее опубликованной статье, здесь опущены. — *Прим. ред. амер. изд.*

<sup>2</sup> О II томе «Идей» см. журнал: *Philosophy and Phenomenological Research*. Vol. XIII. March, 1953. P. 394–413; о Пятом «Картезианском размышлении»: *Philosophische Rundschau*. Bd. V, 1957. P. 81–107.

<sup>3</sup> *Stein E.* Beiträge zur philosophischen Begründung der Psychologie und der Geisteswissenschaften // *Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung*. Bd. V. P. 1–285; *Untersuchung über den Staat* // *Ibid.*, Bd. VII. P. 1–125.

<sup>4</sup> *Walther G.* Zur Ontologie der sozialen Gemeinschaften // *Ibid.*, Bd. VI. P. 1–159.

<sup>5</sup> *Scheler M.* Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. 4. Auflage (Ges. Werke, Bd. 2). Bern, 1954. P. 506–572.

<sup>6</sup> *Scheler M.* Wesen und Formen der Sympathie. 2. Auflage. Bonn, 1922. P. 244–307; English translation: *The Nature of Sympathy*. New Haven, 1954. P. 213–264.

<sup>7</sup> *Scheler M.* Die Wissensformen und die Gesellschaft. Leipzig, 1926. P. 352, 460.

<sup>8</sup> *Loc. cit.* P. 160 и далее.

<sup>9</sup> *Merleau-Ponty M.* La philosophie et la sociologie // *Cahiers Internationaux de Sociologie*. Vol. X, 1951. P. 50–69.

<sup>10</sup> *Ortega y Gasset.* El Hombre y la Gente. Madrid, 1957; Английский перевод (по которому цитируется): *Man and People*, N.Y., 1957. Chs. IV–VII.

<sup>11</sup> *Loc. cit.*, особенно p. 121–128.

<sup>12</sup> См. разделы «Обыденная и научная интерпретация человеческого действия», а также «Формирование понятия и теории в социальных науках» наст. изд.

<sup>13</sup> *Ideen I.* 111, 114; *Zeitbewusstsein*. Sec. 17, а также *Beilage II*.

<sup>14</sup> *Formale und transcendente Logik*. Sec. 74; *Erfahrung und Urteil*. Secs. 51b, 58, 61.

<sup>15</sup> *Ideen I.* Secs. 92, 113, 116.

<sup>16</sup> *Ideen I.* Secs. 119; *Erfahrung und Urteil*, Secs. 24, 50.

<sup>17</sup> *Ideen I.* Secs. 147 и далее.

<sup>18</sup> *Erfahrung und Urteil*. Secs. 21c. См. также раздел «Выбор из проектов действия» наст. изд.

<sup>19</sup> *Ideen II.* Sec. 60.

<sup>20</sup> *Ideen I.* Sec. 116, 147.

<sup>21</sup> *Cartesianische Meditationen*. Sec. 54.

<sup>22</sup> См. раздел «Обыденная и научная интерпретация человеческого действия» наст. изд.

<sup>23</sup> См. *Ideen I.* Sec. I; *Cartesianische Meditationen*. Secs. 49 и далее.

<sup>24</sup> *Logische Untersuchungen*. Bd. II, Erste und Zweite Untersuchung.

<sup>25</sup> См. раздел «Символ, реальность и общество» наст. изд.

<sup>26</sup> *Erfahrung und Urteil*. Secs. 8, 22, 24, 25, 26, 80 и особенно 83 (a) и (b).

<sup>27</sup> См. раздел «Феноменология и социальные науки» наст. изд.

## Основные понятия феноменологии\*

### I

В неподписанной заметке из «Американского социологического обозрения» (*American Sociological Review*) по феноменологической литературе выражено сожаление по поводу того, что она недоступна даже многим философам, не говоря уж о представителях социальных наук. «Мы должны подождать популяризирующих интерпретаций, прежде чем что-либо можно будет сказать об отношении феноменологии к социальным наукам»<sup>1</sup>.

К сожалению, это не преувеличение. До сих пор социальные ученые не выработали должного отношения к феноменологическому движению, основы которого заложили основополагающие труды Эдмунда Гуссерля в первые три десятилетия нашего века. В определенных кругах на феноменолога смотрели как на чистого наблюдателя, метафизика или онтолога в уничижительном значении этого слова, во всяком случае, как на человека, попирающего все эмпирические факты и более или менее разработанные научные методы их сбора и интерпретации. Другие, более информированные, сознавали, что феноменология может иметь определенное значение для социальных наук, но видели в феноменологах эзотерическую группу, чей язык попросту непонятен для непосвященных. Третьи придерживались расплывчатых и по большей части ошибочных представлений о феноменологии, основываясь на лозунгах тех авторов, которые лишь претендовали на звание феноменологов, не используя метода Гуссерля (такие, как Теодор Литт), или на тех феноменологах, которые использовали его методы в нефеноменологических трудах по социальным наукам.

\* *Schutz A.* Collected Papers. Vol. I. Martinus Nijhoff, The Hague, 1962. P. 99–117. Пер. Н.М. Смирновой.

Если не считать нескольких заключительных замечаний, данная статья не была задумана ни как дискуссия об отношении феноменологии и социальных наук, ни даже как популяризированная интерпретация феноменологии социальными учеными. Попытка свести работу великого философа к нескольким основным положениям, понятным и тем, кто не знаком с его мыслью, — дело, как правило, безнадежное. Феноменологии же Э. Гуссерля присущи некоторые специфические трудности. Опубликованные разделы его философии, которым свойственны сжатая форма изложения и высокоспециализированный язык, носят весьма фрагментарный характер. Он считал очень важным вновь и вновь возвращаться к исследованию не только с фундаментальных оснований философии как таковой, но также и всего научного мышления. Он задался целью обнаружить неявные предпосылки, на которых основаны не только все естественные и социальные науки, но даже и современная философия. Он стремился к идеалу «зачинателя» философии в подлинном смысле этого слова. И лишь путем напряженного анализа, неустранимой последовательности и радикальной смены наших мыслительных привычек можно надеяться обнаружить область «первой философии», отвечающей требованиям «строгой науки» и достойной этого имени.

Многие науки и в самом деле называют строгими, и этот термин обычно означает возможность представления научного содержания в математической форме. Но Э. Гуссерль использовал его в ином смысле. Во избежание непонимания важно подчеркнуть, что как ученик Вейерштрасса сам Э. Гуссерль был хорошо подготовленным математиком, получившим докторскую степень за диссертацию по философии арифметики. Но его глубокое понимание математического мышления и восхищение его достижениями не затмили ему его пределов. Он был убежден в том, что ни одна из так называемых точных наук, столь эффективно использующая математический язык, не может привести к пониманию нашего опыта этого мира — мира, существование которого они некритически предполагали, делая вид, что измеряют его с помощью линейки и отметок на шкале их инструментов. Все эмпирические науки относятся к миру как к пред-данному, но сами они и их инструменты являются элементами этого мира. И лишь философское сомнение в отношении неявных предпосылок всех наших мыслительных привычек — научных и вненаучных — может гарантировать правомочность такого — не только философского — соблазна,

но и претензий любых других наук, прямо или косвенно относящихся к нашему опыту этого мира. Э. Гуссерль надеялся, что подобное исследование способно разрешить очевидный для нашего времени всеобщий кризис таких наук, как логика, математика, физика и психология, угрожающий именно тем их достижениям, которые представляются наиболее бесспорными.

Подобная характеристика главной цели Э. Гуссерля в состоянии объяснить те огромные трудности, с которыми сталкивается новичок в феноменологии в попытках приклеить ей один их расхожих ярлыков типа идеализма, реализма или эмпиризма. Ни одна из этих хрестоматийных классификаций не может быть адекватной в отношении философии, которая их проблематизирует. Феноменология, стремящаяся обнаружить предельные основания всего философского мышления, завершает свое исследование тем, с чего традиционная философия его начинает. Она за пределами или, лучше сказать, поверх всех различий между реализмом и идеализмом.

Подобные вступительные пояснения способны помочь устранить широко распространенное неправильное понимание существа феноменологии — веры в то, что феноменология антинаучна, т.е. основана не на анализе и описании, а на неконтролируемой интуиции или метафизическом откровении. Даже многие из тех, кто серьезно изучает философию, склонны рассматривать феноменологию как метафизику, поскольку она отказывается некритически принимать данные чувственного восприятия, биологические данные, общество и окружающую среду как непроблематизируемый отправной пункт философского исследования. Более того, использование Э. Гуссерлем столь неудачных терминов, как *Wesensschau* (интуитивное усмотрение сущности. — *Н.С.*), препятствовало признанию феноменологии методом философского мышления.

Но этот метод столь же «научен», как и любой другой. Далее мы попытаемся предложить несколько примеров, насколько это возможно в неспециализированном языке, чтобы показать, каковы основополагающие принципы этого метода и как они работают. Но это с необходимостью приводит к некоторым упрощениям и неточностям. Их единственным оправданием является надежда на искоренение некоторых бытующих предрассудков в отношении феноменологии, что, возможно, побудит читателя познакомиться с гуссерлевским стилем философского мышления<sup>2</sup>.



## II

Отправной пункт феноменологии — поиск области незыблемой истины — отнюдь не нов для современной философии. Напротив, можно сказать, что современная философия восходит к знаменитой попытке Декарта достичь абсолютной достоверности путем систематического отбрасывания сомнений из любой проблематизируемой сферы опыта. Едва ли имеет смысл обсуждать избранный Декартом в «Картезианских размышлениях» способ установления «*Cogito ergo sum*» («Мыслю, следовательно существую») в качестве бесспорной очевидности, лежащей в основе всего нашего мышления. Но следует подчеркнуть важность его основной мысли: он настаивал на том, что любой философ должен хотя бы раз в жизни предпринять решительное усилие для того, чтобы критически проанализировать все кажущиеся очевидными данные своего опыта и элементы своего потока мышления; для этой цели он должен отбросить некритическую установку в отношении мира, в котором он просто живет среди других людей, не заботясь о том, существует ли этот мир его повседневной жизни или только является. Это фундаментальное открытие Декарта открывает широкий простор новому взгляду на будущее всего философского мышления.

Размышления Декарта сыграли выдающуюся роль в становлении гуссерлевской феноменологии. Но Э. Гуссерль считал, что анализ Декарта недостаточно радикален. Держа в руках ключ к величайшему открытию, он не решился им воспользоваться из-за боязни принять его неизбежные следствия. Точнее, он представил «*ego cogito*» незыблемой основой всего нашего знания и таким образом определил поток мышления как область всех последующих философских исследований. Но он не подозревал о скрытых, подразумеваемых значениях обоих терминов словосочетания «*ego cogito*».

Что до последнего, то Декарт рассматривал когитации (*cogitations*) потока мышления как отдельные сущности. Он не знал о постоянно возобновляющихся внутренних взаимосвязях потока мышления во внутреннем времени, а также не делал существенных различий между процессом и объектом мышления. Первую проблему, т.е. внутренних взаимосвязей потока мышления, мы обсудим далее. Вторая была решена лишь благодаря открытию учителем Э. Гуссерля, Францем

Брентано, *интенционального* характера всего нашего мышления. Любой опыт нашего мышления, утверждал Ф. Брентано, неизбежно отсылает нас к объекту этого опыта. Не существует мысли, страха, фантазии, памяти как таковых; каждая мысль является мыслью *о чем-то*, любой страх является страхом *чего-то*, любая память является памятью об объекте мысли, страха, памяти.

Э. Гуссерль вводит специальный термин для обозначения этого отношения — «интенциональность». Интенциональный характер всех наших когитаций необходимо предполагает четкое различие между актами<sup>3</sup> мышления, страха, удержания в памяти и объектами, на которые они направлены. Э. Гуссерль существенно углубил исследование интенционального характера когитаций, он часто провозглашал сферу интенциональности наиболее значимой сферой феноменологического исследования. Впоследствии мы вернемся к подразумеваемым значениям понятия интенциональности; сейчас же нас интересует лишь тот факт, что картезианское понятие потока когитаций может быть существенно радикализировано указанием на его интенциональный характер.

Радикализация иного рода необходима и в отношении Декартова понятия *Ego*, несомненность существования которого является результатом размышлений. Как видим, картезианский метод означает искусственное изменение установки, принимаемой человеком в повседневной жизни. В естественной установке мы принимаем существование мира как данность, и лишь с помощью философского сомнения очевидность «*ego cogito*» обретает свое подтверждение. Но сделав важное открытие сферы трансцендентальной субъективности как области очевидности, Декарт тут же упустил его, отождествив это *Ego* с *mens sive animus sive intellectus* (человек, либо душа, либо интеллект. — *H.C.*) и таким образом подменив человеческую душу или разум *в* мире на *Ego*, которое может быть обнаружено лишь путем выделения *из* мира и рефлексии. Именно с этого момента начинается феноменологический критицизм — пункт, с которого Э. Гуссерль начинает картезианские размышления сначала. Для того чтобы обрести доступ к сфере чистого сознания, Э. Гуссерль развил знаменитый и часто неправильно понимаемый метод «феноменологической редукции», который мы далее и опишем. Он является не чем иным, как обновленной радикализацией картезианского метода.

### III

Феноменолог не отрицает существования внешнего мира, но в исследовательских целях он решает временно приостановить веру в его существование, т.е. умышленно и систематически воздерживаться от всех суждений, прямо или косвенно относящихся к существованию внешнего мира. Заимствуя математический термин, Э. Гуссерль назвал эту процедуру «заключением мира в скобки» или «выполнением феноменологической редукции». В этих понятиях нет ничего мистического. Они всего лишь названия технических средств феноменологии, радикализирующей картезианский метод философского сомнения для выхода за пределы естественной установки человека в мире, будь этот мир реальностью или видимостью.

Конечно, это искусственное изменение человеческой установки повседневной жизни в отношении мира и веры в его существование на установку философа, который по самой сути своей проблемы вынужден отвергнуть любые предпосылки, не выдержавшие испытания критическим сомнением. Такая техника нацелена на достижение неопровержимой достоверности, выходящей за рамки простого верования, иными словами, — на достижение сферы чистого сознания. Как мы покажем далее, сферу чистого сознания можно исследовать и описывать саму по себе, анализировать ее генезис<sup>4</sup>. Если эта техника оказывается успешной, — а феноменолог думает, что это так, — если она делает возможным исследование сферы чистого сознания, в которой укоренены все наши верования, тогда мы можем вновь вернуться от априорно-редуцированной сферы к миру. А поскольку каждой эмпирической зависимости в мире обязательно соответствуют определенные особенности в сфере чистого сознания, мы можем быть уверены в том, что все наши открытия в редуцированной сфере выдержат проверку и в области посюстороннего мира.

Хотя «феноменологическая редукция» не требует магической или мистической способности ума, используемая ею техника «заключения в скобки», применяемая с надлежащим радикализмом, отнюдь не проста. Ведь мы должны заключить в скобки не только существование внешнего мира со всеми вещами, находящимися в нем, одушевленными или неодушевленными, включая людей, объекты культуры, общество и его институты. Равным образом нам следует воздерживаться от

веры в достоверность наших суждений о посюстороннем мире. Наконец, не только практическое знание о мире, но также и суждения всех наук, относящиеся к внешнему миру, все естественные и социальные науки, психология, логика и даже геометрия — все они должны быть заключены в скобки. Это означает, что ни одна из их истин, выдержавшая опытную или логическую проверку во внешнем мире, не может быть принята в редуцированную сферу без надлежащего критического анализа. Более того, я, человеческое существо, являюсь также и психофизической единицей, элементом этого мира, который следует заключить в скобки, поэтому сказанное равным образом справедливо и в отношении моего тела, разума, души или любого другого имени, которое вы пожелаете дать той схеме соотнесения (*scheme of reference*), к которой относится наш опыт в этом мире. Выполняя феноменологическую редукцию, я должен также приостановить веру в мое земное существование как человеческое существо в мире. Таким образом, процесс феноменологической редукции выходит за пределы этого мира во всех отношениях, и редуцированная сфера по самому значению этого слова является трансцендентальной или, используя более понятное слово, априористской.

Но пытающийся подавить все естественные мыслительные привычки вправе спросить, не ведет ли феноменологическая редукция к абсолютному нигилизму. Если я, так сказать, отрицаю не только внешний мир и мою веру в его существование, не только все результаты наук о мире, но также и себя самого как психофизическое единство, что же остается? Разве это не ведет к единственному выводу, что если все вышеупомянутые элементы заключены в скобки, за ними не остается ничего?

Ответом будет решительное «нет». То, что остается по завершению трансцендентальной редукции, — не что иное, как универсум жизни нашего сознания, поток мышления в его непрерывности со всеми присущими ему формами деятельности, когитаций и опыта (оба термина используются в самом широком — картезианском — смысле, включающем не только восприятия, теории, суждения, но также и акты воли, чувства, фантазии и грезы).

И теперь полезно вспомнить ранее сказанное об интенциональном характере всех наших когитаций. Они по своей сути и с необходимостью являются когитациями *чего-то*; относятся к интенциональным объектам. Подобный интенциональный характер наших когитаций не только сохраняется в пре-

делах редуцированной сферы; он становится более чистым и видимым. Мое восприятие этого стула в естественной установке сопряжено с верой в его существование. Осуществив трансцендентальную редукцию, я воздерживаюсь от веры в существование этого стула. После этого воспринимаемый стул остается за скобками, однако само его восприятие, без сомнения, является элементом моего потока мышления. Оно не является «восприятием как таковым» без всякого отношения к чему-либо; оно остается восприятием чего-то, в данном случае — восприятием этого *стула*. Я более не связан с этим восприятием, с суждением, существует ли реально этот объект во внешнем мире. Мое восприятие интенционально относится не к материальной вещи — «стулу», но к интенциональному объекту «стулу как он воспринят мною», явлению «стула как являющегося мне», который может иметь, а может и не иметь соответствующего эквивалента в заключенном в скобки внешнем мире. Таким образом, мир в его целостности сохраняется в пределах трансцендентально-редуцированной сферы до тех и только до тех пор, пока он интенционально соотносится с жизнью моего сознания, с той, однако, радикальной модификацией, что эти интенциональные объекты не являются более объектами внешнего мира как они существуют и чем являются сами по себе, но представляют собой явления, какими они мне кажутся. Это сложное различие требует дальнейших пояснений.

#### IV

Я воспринимаю цветущее дерево в саду. Это мое восприятие дерева, так как оно мне является, несомненно, есть элемент моего потока мышления. То же самое справедливо и в отношении явления «цветущее-дерево-как-оно-мне-является», выступающего интенциональным объектом моего восприятия. Это явление не зависимо от судьбы реального дерева во внешнем мире. Дерево в саду может изменять свой цвет и тень в зависимости от солнца и облаков, оно может потерять листву или быть уничтожено огнем. Но однажды воспринятое явление «цветущее-дерево-как-оно-является-мне» остается незатронутым как всеми этими событиями, так и выполнением вышеописанной феноменологической редукции. Другое восприятие может относиться к дереву как оно являлось мне в то время и может быть как совместимым, так и не совместимым с преды-

дущим. Если совместимо, я могу осуществить синтез — отождествление двух явлений (точнее, последующего реального восприятия с припоминаемым явлением, почерпнутым из предыдущего восприятия). Если последующее восприятие не совместимо с предыдущим, я могу подвергнуть их сомнению или искать объяснения их кажущейся несовместимости.

В любом случае каждый акт восприятия и его интенциональный объект являются неотъемлемыми элементами моего потока мышления; и равно очевидным является сомнение, которое у меня может быть по поводу того, имеет ли «дерево-как-оно-является-мне» соответствующий коррелят во внешнем мире. Приведенные примеры иллюстрируют тот факт, что мои когитации и их интенциональные объекты являются элементами моего потока мышления, не подверженными изменениям, которые могут происходить с их коррелятами во внешнем мире. Но это не означает, что когитации не подвержены модификациям событиями, происходящими в пределах сферы моего сознания. Для того чтобы пояснить это, давайте сначала проведем различие между актом восприятия и воспринимаемым, между *cogitare* и *cogitatum* или, используя специфически гуссерлевский термин, между Ноэзой (*Noesis*) и Ноэмой (*Noema*)<sup>5</sup>.

Существуют модификации интенционального объекта, истекающие из деятельности разума и являющиеся, следовательно, ноэтическими. Здесь невозможно затевать развернутую дискуссию по поводу ноэтико-ноэматических модификаций, систематическое исследование которых образует широкую область феноменологического исследования. Но чтобы продемонстрировать важность этих проблем, я приведу несколько примеров скрытых импликаций этого феномена.

Если для краткости я использую выражение типа «Я воспринимаю этот стул» или «Я вижу цветущее вишневое дерево в саду», я адекватно описываю не то, что воспринимается в этих актах восприятия, но скорее результат очень сложного процесса интерпретации, посредством которого настоящее восприятие связано с предыдущим восприятием (когитацией) различных сторон этого вишневого дерева, когда я ходил вокруг него, того вишневого дерева, которое я наблюдал вчера, мой опыт восприятия вишневых деревьев и деревьев вообще, материальных объектов и т.д. Интенциональный объект моего восприятия является своеобразной смесью цветов и форм в определенной перспективе, и оно выделяется среди других объектов, впоследствии названных «мой сад», «небеса», «облака». Интерпретация

определенной целостности, такой, как «цветущее-вишневое дерево-в моем саду-как оно мне является», оказывается результатом сложного соотношения с когитациями прошлого опыта. Тем не менее, все относящиеся к материальным вещам когитации прошлого опыта создают определенный «универсальный стиль» интерпретации, ноэматически соотносимый с моими процессами восприятия. Можно даже сказать, что сама ноэма, интенциональный объект восприятия, содержит множество импликаций, которые можно систематически прояснять.

Давайте ради простоты ограничим круг наших примеров восприятиями так называемых материальных вещей. То, что я воспринимаю, — это лишь одна сторона вещи. Другие стороны появляются отнюдь не только когда я хожу вокруг нее. Кроме того, воспринятая сторона вещи предполагает другие возможные стороны: фронтальная сторона здания предполагает существование его тыльной стороны, фасад — интерьера, крыша — невидимого фундамента и т.д. Взятые вместе, все эти моменты могут быть названы «внутренним горизонтом» воспринимаемого объекта, и его можно систематически изучать по интенциональным признакам самой ноэмы. Но существует также и внешний горизонт. Дерево отсылает к моему саду, сад — к улице, городу, стране, в которой я живу, и, наконец, ко всей Вселенной. Каждое восприятие «детали» относится к вещи, которой она подобает, данной вещи — к другим, среди которых она находится и которые я называю ее основанием. Существует не изолированный объект как таковой, но поле восприятий и когитаций с аурой вокруг, с горизонтом или, используя термин У. Джемса, окаймлением (*fringe*), соединяющим с другими вещами. Эта группа импликаций, которую мы назвали внутренним и внешним горизонтом, сосредоточена в ноэме как таковой, и если принять во внимание эти интенциональные признаки, сама ноэма окажется модифицированной, в то время как ноэтическая сторона, акт восприятия, не изменится.

В целях дальнейшего анализа от этих ноэматических модификаций следует отличать ноэтические модификации, коренящиеся в деятельности самого восприятия. Таковы, к примеру, различные установки, свойственные акту восприятия, которые в учебниках по психологии проходят под рубрикой «внимание». Существует также важное различие между изначальным опытом воспринимаемого предмета и опытом, основанным на воспоминании о прошлом опыте. (Не входя в рассмотрение этой очень сложной проблемы, я могу добавить, что описанные

выше различия очень важны для решения величайшей загадки всей психологии, проблемы очевидности: для феноменолога очевидность является не скрытым качеством, присущим особым видам опыта, но возможностью соотносить опосредованный опыт с изначальным.) Это различие основано на взаимосвязи потока мышления во внутреннем времени: данная когитация окружена аурой воспоминаний и ожиданий того, что вот-вот произойдет, когитациями более или менее отдаленного прошлого в воспоминаниях и предвосхищениях будущего.

Все это приводит к совершенно новой теории памяти и опыта во внутреннем времени, бросающей вызов психологии ассоциаций. Радикализируя образ постоянно возобновляющихся взаимосвязей нашего потока опыта, феноменология сближается с ранними работами У. Джемса и доктриной гештальтов. Но основополагающее понятие феноменологии приводит и к совершенно новой интерпретации логики. Но прежде чем мы поясним это, временно отвлечемся на другую тему.

## V

До сих пор наша дискуссия умышленно ограничивалась феноменологической интерпретацией так называемых реальных объектов, предметов внешнего мира. Настало время ввести гуссерлевское понятие «идеальных объектов». Они не имеют метафизического происхождения, равным образом у них нет ничего общего с платоновскими и кантианскими идеями или с берклианским и гегелевским идеализмом. Идеальным объектом, к примеру, является понятие числа или системы чисел, которыми оперируют арифметика и алгебра, понятие теоремы Пифагора как значащей реальности, смысл предложения или книга, понятие типа «гегелевская философия» или «кальвинистская трактовка первородного греха», любые осмысленные социально-культурные объекты, способные в любое время стать интенциональными объектами наших когитаций.

Особенность интенциональных объектов состоит в том, что они *основаны* на так называемых «реальных» объектах внешнего мира и могут взаимодействовать только с помощью знаков и символов, которые, в свою очередь, являются чувственно воспринимаемыми предметами, такими, как звуковые волны произносимых слов или напечатанные буквы. Следовательно, феноменология должна развить очень важную для нее теорию

семантики. Отличительным свойством знака является то, что он всегда предполагает другой объект совершенно иной природы. Хорошо известный знак квадратного корня означает специфически математическое понятие, совершенно независимое от типографской формы этого знака в различных печатных стилях, а также от того, напечатан ли этот знак в учебнике, написан ли он чернилами, карандашом или мелом на доске, использую ли я его в устной речи, произнося «Wurzel», «root» или «racine». То же самое справедливо и в отношении специализированных знаковых систем, а также для всех знаковых систем или языков. Они указывают на идеальные объекты, но сами ими не являются.

В предмете внешнего мира, интерпретируемом как знак, следует строго различать его значение в системе, значение в рамках дискурса и специфическое значение в наличном контексте. Изучение взглядов некоторых современных логиков, желающих свести логику, науку и даже философию к определенным системам семантики, показывает, сколь важны эти гуссерлевские различия. Это, однако, не означает, что Э. Гуссерль не вполне понимал подлинное значение проблемы *mathesis universalis* (универсальной математики. — *H.C.*). Огромным вкладом феноменологии в решение этой проблемы, несомненно, является одно из «Логических исследований», названное «Различие между независимым и зависимым значением и идея чистой грамматики».

## VI

Теория идеальных объектов открывает дорогу другому феноменологическому открытию, важность которого не ограничена опытом использования идеальных объектов. Еще студентами мы научились выводить теорему Пифагора из других геометрических высказываний, шаг за шагом делая заключения из определенных достоверных посылок. Выполнение множества отдельных, хотя и взаимосвязанных, мыслительных операций раскрывает нам значение рассматриваемой теоремы, и это значение становится нашим неотъемлемым достоянием. Теперь, чтобы понять значение теоремы, нам нет необходимости повторять все мыслительные процессы ее вывода. Напротив, несмотря на то, что кое-кто может и затрудняться в доказательстве того, каким образом сумма квадратов сторон правильного треугольника всегда оказывается равной квадрату гипотенузы,

он, тем не менее, понимает смысл этого высказывания, являющегося достоянием нашего опыта.

Обобщая сказанное, подытожим, что наш разум выстраивает мысль с помощью отдельных операциональных шагов, но ретроспективно можно охватить единым взглядом весь процесс и его результат. Скажем более: наше знание объекта в каждый отдельный момент является не чем иным, как «осадком», кристаллизацией (*sedimentation*) предыдущих мыслительных процессов, в которой он конституирован. У него есть своя собственная история, и история его конституирования может быть изучена. Для того чтобы это сделать, необходимо обратиться от готового объекта нашего мышления, каким он нам представляется, к различным формам деятельности нашего разума, в которых данный объект создавался шаг за шагом.

Таково ядро гуссерлевской теории конституирования, и оно позволяет проникнуть в одно из величайших достижений в интерпретации логики.

## VII

Преподаваемая в школе современная логика является лишь усовершенствованием аристотелевской формальной логики, которая рассматривает понятия как готовые и разрабатывает операциональные правила для техники суждений, вывода, дедукции и т.д. Эта логика основана на представлении о мире, в котором есть вещи, их свойства и отношения между вещами, и все они представлены четко очерченными понятиями. Фундаментальным допущением такого типа логики является возможность приписывать предикаты, согласно хорошо известной формуле «S есть P».

Феноменологический анализ, однако, показывает, что существует до-предикативный слой опыта, в пределах которого интенциональные объекты и их свойства вовсе не являются четко очерченными; что мы располагаем не изначальным опытом изолированных объектов и их свойств, но, скорее, полем нашего опыта, в пределах которого отдельные элементы отбираются как выделяющиеся на фоне их пространственного и временного окружения. Посредством постоянно возобновляющихся взаимосвязей нашего потока сознания все эти выделенные элементы сохраняют свою ауру, окаймление, горизонты. Анализ механизма предикативного суждения гарантирован

лишь обращением к мыслительным процессам, в которых и посредством которых конституирован допредикативный опыт. Формальная логика, следовательно, должна быть построена на лежащей в ее основе логике конститутивных процессов. А их можно исследовать лишь в трансцендентальной сфере, доступ к которой открывает феноменологическая редукция.

Таков упрощенный набросок гуссерлевского различия между «формальной и трансцендентальной логикой». В книге под таким названием он показывает, что подобного рода анализ приводит к совершенно новой интерпретации некоторых основополагающих понятий современной логики, таких, как очевидность, тавтология, принцип исключенного третьего и т.д. Вскрывая предпосылки формальной логики в определенных онтологических допущениях, Э. Гуссерль положил начало исследованию роли интерсубъективности в сфере логики, относящейся не к моему собственному, но к общему для всех нас миру. И лишь исследование проблемы интерсубъективности способно разрешить проблему интерсубъективной истины.

Здесь, конечно же, нет возможности затевать дискуссию по поводу этих сложных и запутанных проблем. Даже короткий перечень приведенных выше вопросов способен продемонстрировать их величайшую важность для всех наук. Я лишь рискну сказать, что много выдающихся свершений в логике, которым наше поколение обязано операционализму Дьюи и прагматизму Джемса, могут обрести подтверждение лишь путем обращения к сфере допредикативного опыта. Все скрытые и явные онтологические допущения, сделанные представителями этих школ, должны быть тщательно проанализированы для того, чтобы очертить область законного применения этих теорий и избежать ошибки рассматривать их как всеобщие принципы нашего мышления, каковыми они, конечно же, не являются.

### VIII

Даже краткий обзор основополагающих методов гуссерлевской феноменологии был бы не полон без упоминания о важном различии между эмпирическим и эйдетическим подходами. Согласно Э. Гуссерлю, феноменология стремится быть эйдетической наукой, исследующей не только существование, но и сущность (Wesen). Феноменологические методы, конечно же, могут успешно применяться также и в эмпирической области.

Но лишь обращением к эйдетической сфере может быть подтвержден априористский характер феноменологии как *первой философии* и даже как феноменологической психологии. Я хотел бы особо подчеркнуть, что различие между эмпирическим и эйдетическим подходами не имеет ничего общего с различием между посюсторонним миром и феноменологически-редуцированной сферой, о которой мы говорим. В рамках посюстороннего мира эйдетическая наука тоже возможна.

Неудачные термины «сущность» (Wesen) и «интуитивное усмотрение сущности» (Wesensschau), употребляемые Э. Гуссерлем для характеристики эйдетического подхода, породили много непонимания и даже отвратили добровольных читателей от изучения гуссерлевских Ideen («Идеи к чистой феноменологии». — *Н.С.*), открывавшихся изложением этого метода. Термин «сущность» (Wesen) имеет метафизические коннотации в философской литературе, а греческий термин «эйдетический» заставляет читателя отождествить сущность с платоновской идеей; термин же «интуитивное усмотрение сущности» (Wesensschau) предполагает что-то вроде иррациональной интуиции, определенной техники откровения, доступной лишь в мистическом экстазе и используемой феноменологической эзотерикой, дабы созерцать вечные истины.

На самом деле эйдетический подход, как и феноменологическая редукция, — не более чем такой же методологический прием исследования. Принцип этого метода таков. Предположим, что передо мною на освещенном письменном столе стоит красный деревянный кубик размером в один дюйм. В естественной установке сознания я воспринимаю эту вещь как бесспорно реальную, имеющую перечисленные выше характеристики. В феноменологически-редуцированной сфере феномен кубика — кубика как он мне является — сохраняет те же свойства, что и интенциональный объект моего акта восприятия. Но предположим, я интересуюсь тем, что является общим для всех кубов. Я не хочу делать этого методом индукции, который не только предполагает существование сходных объектов, но и содержит некоторые неоправданные логические допущения. Передо мною лишь один-единственный воспринимаемый объект. Однако я могу трансформировать его в своей фантазии путем варьирования его характеристик: цвета, размера, материала, из которого он сделан, пространственной перспективы, освещения, окружения и основания, на котором он находится, и т.д. Прodelывая такие мысленные вариации, я могу пред-

ставить себе бесконечное множество различных кубов. Но подобные вариации не затрагивают определенных характеристик, общих для всех воображаемых кубов. К ним относятся прямоугольная форма, шесть поверхностей, материальность. Набор характеристик, остающихся неизменными при всех возможных мысленных трансформациях конкретной воспринимаемой вещи, в данном случае — ядро всех возможных воспринимаемых кубов — я называю существенными характеристиками этого куба или, используя греческий термин, *эйдосом* этого куба. Ни один куб нельзя помыслить без этих существенных характеристик. Все прочие свойства и характеристики конкретного объекта изучения являются несущественными. (Нет нужды говорить, что я могу использовать мой красный деревянный кубик как основу воображаемых вариаций для обнаружения эйдоса цвета, материального предмета, объекта восприятия и т.д.)

Таким образом, предметом эйдетического исследования являются не конкретные и реальные, а воображаемые предметы. Именно в этом смысле мы должны понимать часто критикуемое суждение Э. Гуссерля, что феноменология имеет дело не столько с воспринимаемыми, сколько с воображаемыми объектами, и что последние имеют даже большее значение для феноменологического подхода.

Как видим, эйдетический подход является лишь методологическим средством для решения определенной проблемы. Феноменолог, можно сказать, занимается не самими объектами; его интересуют их *значения*, конституированные деятельностью нашего разума.

Важность этого оригинального метода нельзя недооценивать. Он приводит к совершенно новой теории индукции и ассоциации, а также открывает возможность построения научной онтологии. Только с помощью эйдетического метода мы можем обнаружить истинную причину так называемой несоизмеримости; только используя его, мы в состоянии открыть и описать важное отношение, лежащее в фундаменте различных онтологических реальностей.

## IX

Мы не можем обсуждать здесь многочисленных приложений приведенных выше методологических принципов. Мы также не станем рассматривать достигнутые Э. Гуссерлем успехи в освое-

нии этой новой территории научного исследования или их использование теми, кто считает себя его учениками, хотя многие из них совершенно превратно понимали то, что сам Э. Гуссерль имел в виду. Единственная цель настоящего обзора состояла в том, чтобы показать, что феноменология является серьезным и трудным занятием. Оно только началось, и впереди у феноменологии огромные задачи. Но одно, я надеюсь, прояснил: результаты феноменологического исследования не могут и не должны противоречить апробированным результатам наук о земных делах или даже обоснованным учениям так называемых философов науки. Как подчеркивалось выше, феноменология имеет свою собственную область исследования и надеется завершить его тем, с чего науки его начинают.

А теперь, боюсь, мне придется разочаровать читателя. Квалифицированный феноменолог не склонен рассматривать все вышеописанное как обзор феноменологической *философии*. Возможно, он допустил бы, что тот или иной вопрос из того, что Э. Гуссерль назвал феноменологической *психологией*, и был затронут. Феноменологическая философия исследует деятельность трансцендентального эго, конституирование пространства и времени, конституирование интерсубъективности, проблемы жизни и смерти, проблемы монад; это подход к вопросам, до сих пор называвшихся метафизическими. В опубликованных трудах Э. Гуссерля лишь очень фрагментарно рассматриваются основания феноменологической философии, хотя он и посвятил им последние 20 лет своей жизни<sup>6</sup>. Однако я верю в то, что в современных условиях американские гуманитарии могут быть в гораздо большей мере заинтересованы в методах и результатах феноменологической психологии, которая, будучи корректно понятой, во многих отношениях сближается со многими отличительными чертами психологии Джемса, с некоторыми фундаментальными понятиями Г. Мида<sup>7</sup> и, наконец, с гештальт-теорией, завоевавшей много последователей среди американских психологов.

## X

В нескольких заключительных замечаниях кратко очертим отношение феноменологии к социальным наукам. Нужно прямо сказать, что важность феноменологии для социальных наук не может быть продемонстрирована путем анализа конкретных

проблем социологии или экономики, — таких, как теория социальной регуляции или международной торговли, — феноменологическими методами. Однако я убежден в том, что будущие разработки в области методов социальных наук и их фундаментальных понятий обязательно приведут к области феноменологического исследования<sup>8</sup>.

Приведу лишь один пример. Все социальные науки рассматривают интерсубъективность мышления и действия как сами собой разумеющиеся. То, что существуют другие люди, что они воздействуют друг на друга, что между ними возможна коммуникация посредством знаков и символов, что социальные группы и институты, правовые, экономические и подобные им системы являются целостными элементами нашего жизненного мира, что этот жизненный мир имеет свою историю и собственные пространственно-временные характеристики, — все эти понятия явным или неявным образом фундаментальны для всех социальных ученых. Они изобрели определенные методологические средства — схемы референции, типологии, статистические методы, — чтобы заниматься явлениями, обозначаемыми этими терминами. Но сами феномены не проблематизируются. Человек просто рассматривается как социальное существо, язык и другие системы коммуникации существуют, сознательная жизнь Другого доступна мне, — короче, я могу понимать Другого и его действия, а он — меня и мои деяния. То же самое справедливо и в отношении создаваемых людьми социальных и культурных объектов. Они рассматриваются как данность, им присущи определенные значения и способ существования.

Но как вообще возможны взаимное понимание и коммуникация как таковые? Как возможно выполнение осмысленного действия, целенаправленного или по привычке, руководствуясь поставленными целями или мотивированного определенным опытом? Не относятся ли понятия значения, мотивов, целей или действий к определенным структурам сознания, определенной организации опыта во внутреннем времени, определенному типу отложения опыта? И не предполагает ли интерпретация значений Другого, его действий и результатов, самоинтерпретацию наблюдателя или партнера? Как я могу как человек среди людей или социальный ученый найти подход ко всему этому иначе, как обратившись к отложениям еще не интерпретированного опыта, осажденного в моей прошлой сознательной жизни? И чем еще могут быть оправданы методы интерпрета-

ции социальных взаимодействий, если не тщательным описанием лежащих в их основе допущений и импликаций?

На эти вопросы нельзя дать ответ с помощью методов социальных наук. Они требуют философского анализа. И феноменология — не только область, названная Э. Гуссерлем феноменологической философией, но даже и феноменологическая психология, — не только открывает простор для такого анализа, но и кладет ему начало.

## Примечания

<sup>1</sup> American Sociological Review. Vol. 9. 1944. P. 344.

<sup>2</sup> См.: *Faber M.* Phenomenology in Twentieth Century Philosophy / Ed. by D. Runes. N.Y., 1934, и прекрасную статью того же автора: The Foundation of Phenomenology: Edmund Husserl and the Quest for a Rigorous Science of Philosophy. Cambridge, Mass., 1943.

<sup>3</sup> Э. Гуссерль определяет «акт» мышления не как психологическую деятельность, но как интенциональный опыт; см.: *Faber M.* The Foundation of Phenomenology. P. 343.

<sup>4</sup> Гуссерлевский термин «генезис» обозначает процесс, в котором знание возникает в своей изначальной форме как непосредственная данность и не имеет ничего общего с процессом возникновения значений из определенной исторической субъективности. См. предыдущ. сноску.

<sup>5</sup> Изучающие психологию У. Джемса не ошибутся, если сопоставят эти понятия с используемыми У. Джемсом «мышлением» и «объектом мышления», при этом имея в виду тот факт, что психологический анализ У. Джемса относится исключительно к посюстороннему миру, в то время как Э. Гуссерль работает в трансцендентально редуцированной сфере.

<sup>6</sup> См. его статью «Феноменология» в 14-м издании Encyclopaedia Britannica.

<sup>7</sup> См. раздел «Феноменология и социальные науки».

<sup>8</sup> См.: *Natanson M.* The Social Dynamics of George H. Mead. Washington, D.C., 1956.